

Марк Балан

Теория потерь

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Марк Балан

Теория потерь

«Автор»

2026

Балан М.

Теория потерь / М. Балан — «Автор», 2026

Вероника Савельева с детства верила, что мир — это система уравнений. Есть верный алгоритм, и любая задача решается. Математика была её убежищем от властной тетки, рано ушедшего отца и собственной неуверенности. Долгое время казалось, что холодный расчет побеждает всегда. Но реальность одна за другой опровергает её теоремы. Сначала обрывается жизнь лучшей подруги. Затем несчастливый брак и насилие оставляют неизгладимый след. Позже взрослеют и предают собственные дети. А ум, бывший главной опорой, начинает подводить Веронику именно тогда, когда он нужнее всего. Пока женщина медленно теряет почву под ногами в Москве, в маленьком провинциальном городе взрослеет Аня — дочь той самой погибшей подруги. Девочка знает о прошлом только по рассказам бабушки. Две параллельные жизни и два непохожих голоса — плотный, аналитический Вероники и легкий, чувственный Ани — много лет идут своими маршрутами, чтобы однажды пересечься в одной-единственной точке.

© Балан М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

***	5
Пролог	6
Часть 1	7
Глава 1. Ника. Нача́ла	8
Глава 2. Ника. Ошибка первого рода	11
Глава 3. Ника. Контур замкнутого круга	15
Глава 4. Ника. Объединение событий	19
Глава 5. Ника. Точка пересечения	25
Часть 2	34
Глава 6. Ника. Вычитание	35
Глава 7. Ника. Иррациональное	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Марк Балан

Теория потерь

Роман основан на реальных событиях. Однако в целях художественного повествования имена, персонажи, места действия и хронология были изменены. Все совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, а также событиями являются абсолютно случайными.

Пролог

Лечилась я тогда от депрессии. Едва домой выписали — где день, где ночь, не знаю. Имя своё вроде помню, но вспоминать не хочу, ибо смысла в том не вижу. В полутьме очнулась, сползла на пол, побрела в туалет. А когда возвращалась, поняла: хоть до постели полшага, сделать его не в силах. Так и упала на пол с высоты своего роста.

То, что время относительно, я всегда лучше Эйнштейна знала, потому и сказать не могу, сколько его прошло. Очнулась от саднящей боли в боку, плече, ноге и сильного холода. Лежу, встать сил нет, лишь краем глаза вижу, как пышной мягкой лавой застыло на краю матраса зелёное одеяло. Протянула руку в бездну, отделяющую меня от кровати, зацепилась ледяными ломкими пальцами за самый край ткани и тащу её на себя. И, кажется, мне, что в этом безмерном пространстве одеяло растёт и становится бесконечным: вот оно было размером с ложе, вот стало с комнату, вот переросло границы дома, вот укрыло собой планету, вот вышло на околоземную орбиту, вот растянулось, пряча в себя все звёзды нашей галактики, и лишь меня укрыть не желало. Но, наконец, когда одеяло уже совсем собиралось, поглотив Млечный Путь, продолжить путешествие к новым мирам, оно всё-таки закончилось. Упало всей своей массой, к сожалению, лишь обдав меня лёгким бризом пушисто-упойтельного тепла, и надменно улеглось рядом на полу.

Собралась я с силами и снова потянула его на себя. Тяну и поворачиваюсь. Тяну и поворачиваюсь. Закатываюсь в него. Так и действовала, пока не оказалась укутанной, как в кокон. И тогда я осознала, что теперь действительно всё: больше пошевелиться не смогу, сил не хватит. Но не испугалась — для испуга ресурсы нужны. Я же просто лежала, согреваясь, задрёмывая, и почему-то думалось: после, когда я уже умру здесь, придут какие-то люди, вскроют дверь и найдут меня, лежащую на полу, запелёнанную в зелёный саван, похожую на гигантскую гусеницу, которая так никогда и не стала бабочкой.

Часть 1

Глава 1. Ника. Нача́ла

Вначале ничего не было. Нет, не так. Вначале ничего такого не было. Опять не то... Вначале было всё. Вернее, всё было как у всех. Самая обычная семья: мама, папа, девочка. Родители много и хорошо работают, девочка много и хорошо учится. Классический, ровный сценарий, который не предвещал никаких катастроф. В детстве всё измерялось зимами. Точнее — одной конкретной зимой, когда посреди нашего серого двора появилась огромная ледяная горка. Её соорудил папа. Тайком, из каких-то старых досок, а потом ночью в мороз залил водой из шланга, пока мы спали. Утром эта горка показалась нам с Сонькой хрустальным замком. Ромка из соседнего подъезда, вечно трусивший, стоял внизу, смешно шмыгая носом, а мы с Соней, крепко взявшись за руки, летели вниз, прямо в пушистый сугроб, визжа от восторга. А на краю сугроба всегда стоял папа. Огромный, надёжный, пахнущий морозом и хвойным одеколоном. Он ловил нас, подбрасывал в воздух, а потом лез во внутренний карман полушубка и доставал любимую шоколадку в шуршащей фольге:

— Держите, девчонки, за отвагу!

Дети вообще не запоминают долгих разговоров взрослых. Они запоминают только плотность безопасности вокруг себя. Пока папа был жив, эта безопасность была абсолютной. Горка стояла во дворе каждую зиму. Рядом с ней мы с Соней и выросли. Ромка с первого детского знакомства был влюблён в Соню. Ходил за ней по пятам, заглядывал в глаза, смеялся только тогда, когда это делала она. Я звала Ромку — «Сонин хвостик». Он заливался краской, сопел, но никогда ничего не отвечал мне на это. Наверное, это было немного жестоко, но Ромка меня... боялся. Я была громкая, шумная, как мне тогда казалось — справедливая, не боящаяся сказать, что считала правильным. А Ромка... О нет, он не был глупым или злым, он был совсем неплохой. Просто он очень не любил конфликтов.

Соня же росла отважной. В ней не было моей математической строгости, но было какое-то природное, яростное чувство справедливости. Если во дворе обижали слабых, Сонька бросалась в бой первой, не думая о синяках. Единственной Сониной странностью было умение замереть прямо посреди действия, улицы или рассказа и прошептать: «Смотри, как красиво», указывая на что-то видимое только ей. Мы были идеальным пазлом: мой холодный ум и её горячее сердце.

Я думала, что хрустальный замок простоят вечно. Но в один, в общем-то, обычный день папа просто не пришёл с работы. Сердце остановилось. Краткий телефонный звонок — и всё. То тёплое, пахнущее мандаринами и шоколадом детство схлопнулось, как карточный домик. Нашу ледяную горку больше никто не заливал. За лето доски потемнели и сгнили, и я впервые в жизни поняла, что сугробы во дворе могут быть просто холодными, грязными и чужими. Мама после похорон как-то сразу посерела, угасла и практически замолчала. И в свои двенадцать лет, глядя на опущенные мамины плечи, я поняла: теперь я за старшую. Больше никому. Я должна быть сильной.

Именно тогда в нашем доме окончательно воцарилась тётя Аглая. Она и раньше занимала немало места в нашей жизни, благо жила рядом, в соседнем доме на первом этаже. Будучи старшей сестрой моего папы и не имея личной жизни, тётя Аглая считала своим долгом тесно участвовать в нашей. Теперь же и вовсе, пользуясь маминой беспомощностью, тётушка заполнила собой всё пространство. Аглая была женщиной с монументальным, удушающим характером. Из тех «любящих родственников», чья опека больше походила на конвой. Она всегда знала, как «правильно» скорбеть, куда мне поступать, что носить и как дышать. Мама безро-

потно подчинялась, а во мне с каждым годом рос глухой, яростный протест. Мне отчаянно хотелось вырваться из цепких тётиных ручек.

Маленькая, худющая, с короткой стрижкой, в тяжёлых роговых очках, она всю жизнь проработала бухгалтером, дослужилась до главбуха и на мир смотрела через призму бесконечных цифровых столбцов, не давая никому возможности выбиться из стройного ряда. Единственной слабостью Аглаи, если можно это так назвать, были её собачки, две крошечные левретки. Когда одна из собак уходила в мир иной, тётя тут же заводила другую такую же. Она фланировала по двору в обществе своих противно твякающих четвероногих подружек и зорко следила за тем, чтобы всё было так, как надо, или, вернее, так, как она считала, должно быть.

Из окна этот гротескный забор из кучи тощих ножек — её собственных и собачьих — казался неотъемлемой частью дворового пейзажа.

Тётя непрерывно курила, но чужие слабости карала беспощадно.

В классе седьмом мы с Соней решили тоже попробовать курить. Притаились за гаражами, чиркнули спичкой, затянулись и закашлялись одновременно. Ромку, разумеется, поставили «на стрёме». Возмездие настигло быстро: тётка возникла из-за угла как карающий ангел и со всей силы принялась лупить нас тяжёлой кожаной сумкой, которую она почему-то называла смешным словом «ридикюль», и которую всегда носила с собой. Больше всего в этой истории досталось Ромке. Он-то не курил, но получил и от тётки — за соучастие, и от нас с Соней — за то, что проглядел атаку.

Разобиженный Ромка ринулся прочь от нас. Рядом с домом он чуть не сбил с ног возникшую прямо на траектории его полёта Раю, нашу соседку по лестничной клетке, неспешно вышагивающую по периметру детской площадки. Рая качнулась в сторону. Ромка что-то пробормотал неразборчиво, видимо, пытаясь извиниться, и потянул Раю за руку, восстанавливая её пошатнувшееся равновесие.

Нужно сказать про Раю, что она была абсолютно слепой. Она была старше нас с Соней на восемь лет и жила в соседней однушке со своей мамой, Ниной Петровной, — добрейшей, душевной женщиной, чей оптимизм не сломали никакие жизненные невзгоды. Мои родители доверяли Нине Петровне и Рае безоговорочно. Их всегда можно было попросить дождаться визита слесаря, если ни у кого из взрослых не было на это времени. У них хранились запасные ключи от нашей квартиры — просто на «всякий случай», по нехитрой московской традиции, которую соблюдали едва ли не в каждой квартире. Тогда мне это казалось обычной бытовой мелочью, одной из многих примет нашего двора. Я не могла знать, что спустя много лет именно эта незатейливая привычка — ключ, который просто лежит в шкапулке у соседки, — определит, жить мне или умереть. Рае жилось непросто, но, честно говоря, я не особо задумывалась о ней, просто принимая её как часть нашей жизни. Соня же, конечно, напротив: иногда, завидев немного деревянную Раину походку, задумчиво тянула:

— А как это так — ничего не видеть? Вот я смотрю, смотрю и насмотреться не могу.

Я всегда обрывала эти малопонятные для меня Сонькины сентенции:

— Пойдём, Соник, ты ещё матеш не сделала.

Тот день, в который Ромка чуть не сбил с ног Раю, Соня впоследствии назвала «общеншим днём отказа от курения». Так и осталось в памяти, как в спину, трусливо убегающему от всех проблем Ромке, летел град ядовитых шпилек Аглаи:

— Да-да, беги, вот так всегда бывает: сначала ты куришь, потом сбиваешь людей с ног, а потом и не заметишь, как ты уже в тюрьме.

Это был паралогизм абсолютно в стиле моей милой тётушки.

Я сердито смотрела, собираясь, указав на абсолютную нелогичность её поступков, схлестнуться с ней в ожесточённом споре о правильном воспитании детей, но меня опередила Соня. Потирая пострадавшие от ударов «ридикюлем» места на теле, она, как обычно, начала громко смеяться:

— Вот это вы «отридикюлили» нас, тётя Аглая, так «отридикюлили»! Я не буду больше курить, честное слово, мне совсем не понравилось!

Глава 2. Ника. Ошибка первого рода

Как я уже сказала, тётя Аглая всю жизнь проработала бухгалтером, и к цифрам она относилась как к идеальным солдатам. В её ведомостях они служили одной-единственной идее — сохранять неизблемость, порядок и жёсткий статус-кво. Тётины цифры были сухими, плоскими, они пахли пыльными отчётами и тоской.

Я же бежала в совершенно другую математику. Мне цифры с детства казались живыми и настоящими. Они были надёжны, не способны уйти, умереть, проявить слабость, на них всегда можно было опереться. Взамен они ждали только одного — внимания. И я всегда его им давала. Именно поэтому после школы я выбрала не престижный экономический, куда меня усиленно толкала Аглая, а фундаментальный факультет старого московского вуза — места, где цифры были не тюрьмой, а свободным звенящим космосом высшей логики.

Я поступила легко, поскольку всю школьную жизнь была отличницей, победительницей всевозможных олимпиад и конкурсов. И в вузе моя слава не меркла. Был только единственный проигрыш в череде моих успехов — на втором курсе университет проводил отборочный тур Всероссийской студенческой олимпиады по математике. Я, конечно, подала заявку, не сомневаясь в своей победе. Но в этот раз моя тёзка — крылатая богиня Ника — впервые в жизни отвернулась от меня. Триумфатором стал Лев Костенко, мой извечный соперник ещё со школьных олимпиад, теперь тоже студент с параллельного потока. Мысль об этом позоре настолько грызла меня, что я буквально потеряла сон, всё время прокручивая в голове причины своей неудачи. Единственным способом хоть как-то приглушить эту горечь стало участие в международной студенческой олимпиаде по математике — уже в следующем году. Я, конечно, победила. Но, добившись безоговорочного триумфа, до конца принять своё поражение на той, позорной для меня, олимпиаде так и не смогла — оно то и дело отзывалось занозой где-то на задворках сознания, стоило мне хоть немного ослабить хватку.

Впрочем во всем остальном моя студенческая жизнь был практически безоблачной.

Когда мои потерянные одноклассники конца 90-х уходили в туманное свободное плавание новой, хаотичной эпохи, я точно знала координаты своей пристани — кафедра теории вероятностей нашего университета. Математика стала моей личной цитаделью, моим щитом от домашней тирании тётки и маминого молчания. Здесь, в мире высшей логики, я обретала абсолютный контроль над реальностью. Жизнь казалась предсказуемой и честной задачей. С этим убеждением я штурмовала аспирантуру.

... Перед дверью аудитории номер четыре остановилась, чтобы перевести дыхание и поправить воротник строгого тёмно-синего пиджака. Сердце колотилось в самое горло. Сегодня я впервые в жизни должна была переступить этот порог не как студентка, а как преподаватель — вести семинар у первокурсников.

В свои двадцать два года я была высокой, стройной, с густыми светлыми кудрями, небрежно откинутыми назад, пухлыми губами и ясным взглядом серых глаз. Когда я улыбалась, на моих щеках заметно проступали ямочки. Но сейчас их нужно было спрятать. Нужна была маска строгости.

Толкнула тяжёлую дубовую дверь и сделала шаг в аудиторию. Гул голосов мгновенно стих.

— Здравствуйте, Вероника Андреевна, — негромко произнесла девушка, занявшая место на самой последней парте. От этого официального обращения у меня на секунду вновь перехватило дыхание. В голове со скоростью калейдоскопа пронеслось: для утасаживающей мамы я всегда была Верой. Для умершего папы — Никой. Для учителей и одноклассников — Веро-

никой Савельевой. Для Сони, теперь уже отучившейся на театрального художника-костюмера — Рони... А теперь, надо же, здравствуйте-пожалуйста: Вероника Андреевна.

Сдержанно кивнув, прошла к кафедре, уверенно взяла мел и повернулась к доске. Чёткий, громкий голос зазвучал на удивление твёрдо:

— Доброе утро. Записываем тему семинара: «Теория вероятностей. Случайные величины». Сегодня мы попробуем доказать, что в этом мире нет ничего хаотичного. Любой хаос можно просчитать, подчинить формуле и предсказать.

Я искренне верила в то, что говорила. Но главным, самым любимым опровержением моей теории всегда была Соня.

Хоть мы и жили в одном дворе, виделись теперь урывками: мои ночные бдения над графиками и утренние занятия никак не совпадали с её вечерними спектаклями и бесконечными пошивами перед премьерами. Но каждая встреча с ней была как глоток чистого воздуха посреди свинцовой строгости моих цифр и домашней серости. В отличие от нашей квартиры, где после смерти папы воцарился тотальный контроль тёти-главбуха, дома у Сони по-прежнему было светло и тепло. Её мама, Анна Семёновна — хлебосольная московская женщина — безгранично гордилась моими академическими успехами, неизменно усаживала за стол и угощала самыми вкусными пирогами.

Соник в то время уже вовсю работала в одном из старых московских театров.

К своему стыду, я так и не запомнила, куда конкретно поступил её послушный «хвостик» Ромка. В какой-то новоявленный коммерческий университет, коих в конце двадцатого века расплодилось в Москве как грибов после дождя. Ромка исправно плыл по течению и в итоге получил звенящую своей пустотой профессию безликого менеджера. Он всё так же преданно заглядывал Соне в глаза, пока она горела своим искусством, а я обживала кафедру.

Однажды поздней осенью мы бежали от метро в привычной московской сырости и попеременно тащили огромный Сонькин баул с обрезками драпа, бархата и яркого сукна после очередной театральной премьеры.

Возле подземного перехода, прямо на ледяном, мокром асфальте, лежал бездомный пёс с обрубленным хвостом. Он даже не скулил — просто мелко дрожал всем исхудавшим телом, покорно ожидая конца. Остановившись, я попыталась включить свою привычную, холодную логику:

— Соня, пойдём, всех собак этого огромного, жестокого города не спасти.

Но у Сони логика не работала. Она затормозила так резко, что чуть не врезалась в меня, и воскликнула:

— Ронька, держи баул!

Прямо там, под недоумёнными взглядами редких прохожих, она опустилась на колени в грязную кашу из снега. Её пальцы летали с бешеной скоростью. Она доставала из мешка самые яркие, тёплые куски шерсти, связывала, переплетала их между собой какими-то хитрыми морскими узлами. Через пять минут на ошеломлённом псе красовалась настоящая попона — нелепая, лоскутная, взрывающаяся всеми цветами радуги.

— Ну и что ты стоишь, Ронька? Помогай! — смеясь, крикнула Соня, пытаясь обхватить притихшее животное. — Знакомься, это Дик!

Оставить новоиспечённого Дика на тротуаре она, конечно, не смогла. Мы вдвоём потащили это грязное чудо к ней домой. Дик на наших руках лежал спокойно, как будто давно уже умер.

На кухне Анна Семёновна для порядка громко сердилась и кричала на всю квартиру, что Соня сумасшедшая — «форменная тургеневская барышня, у которой сердце всегда бежит на полкорпуса впереди головы». Но шумела она только для того, чтобы замаскировать собственную жалость. Уже через десять минут Сониная мама вытирала собачьи лапы старым полотенцем и наливала Дику тёплого бульона, а нам отрезала по щедрому куску пирога.

Я сидела на этой уютной кухне, смотрела на Соню, которая, смеясь своими бездонными карими глазами, тараторя, пересказывала маме историю спасения Дика и думала, какая же они странная, нелогичная, но бесконечно тёплая семья. Тогда, слушая стук обрубка собачьего хвоста по линолеуму, я ещё не знала, что эта лоскутная попона — пророчество. И пройдёт совсем немного времени, и на руках этой не очень молодой женщины, внимающей сейчас захватывающему рассказу дочери, окажется крошечная внучка, потерявшая одновременно и мать, и исчезнувшего в густых московских джунглях отца. И то, что Анна Семёновна, продав московское жильё, уедет в Подмоскovie с шевелящимся кульком на руках и спасённым псом Диком. Уедет, чтобы вырастить девочку на рассказах о её маме Соне и подруге той — Нике. И что ещё через без малого четверть века эта повзрослевшая девочка, знающая обо мне только по бабушкиным воспоминаниям, найдёт меня в зелёном коконе на полу и вернёт к жизни точно так же, как и когда-то её мать спасла умирающего от людского предательства бездомного пса на ледяной московской улице.

Было ещё одно место, где моя математическая логика давала сбой: это был безымянный, заросший липами сквер рядом с университетом. Я приходила туда в обед, готовиться к семинарам, садилась на вытертую деревянную скамью с раскрытым блокнотом и ждала.

Он появлялся всегда в одно и то же время, без четверти два. Высокий, широкоплечий, в шуршащем синем спортивном костюме — такие тогда только-только входили в моду у тренеров появляющихся в Москве фитнес-клубов. Он бежал легко, пружиня по асфальту, и от него веяло какой-то оглушительной, первобытной силой. Этот парень был полной противоположностью моему академическому миру. Мне ещё не было известно его имя, мы ни разу не разговаривали, но я уже была чуточку влюблена в этот чужой и сильный образ.

Знакомство я решила устроить в своём фирменном стиле — через точный математический расчёт. Никакой девчоночьей робости. В то время я была натурой цельной, волевой и всегда точно знала чего хочу. Моим девизом было: «Вижу цель — не вижу препятствий». Это было целиком моё решение, моя задача, требующая безупречного исполнения. Несколько дней наблюдений позволили вывести идеальную формулу. Я знала точно, в какое время молодой человек сбежит с асфальтовой дорожки, срежет путь по старой клумбе и направится к выходу из сквера.

Встала со скамейки заранее, мысленно рассчитав среднюю скорость его бега и длину своего шага. Нам суждено было пересечься ровно в той точке, где парковая тропинка выбегала на городскую улицу. Пять шагов, три, один... Удар получился мягким, но ощутимым — я врезалась плечом в его широкую грудь. Парень затормозил, подхватив меня за локти. Я тут же включила всё своё природное оружие: лучезарная улыбка, пухлые губы и задорные ямочки на щеках.

— Ой, извините меня, Машу-Растеряшу! — чуть кокетливо выдохнула, глядя на него снизу вверх.

Я ожидала вежливого, возможно, слегка смущённого ответа, принятого в моём университетском кругу. Но парень в спортивном костюме белозубо оскabлился и, не выпуская моих локтей, громко произнёс:

— Привет, Маша-Растеряша! А я — Вадим!

И именно в это первое мгновение нашего сближения в моей голове прозвучал звоночек. Очень тихий, робкий, но тревожный, как сигнал опасности на приборной панели. Никому и

никогда в своей жизни я не спустила бы такой мгновенной, бесцеремонной фамиллярности. Будь на его месте коллега по аспирантуре или студент, я бы выставила ледяной барьер из вежливого «вы» и поспешила закончить общение. Но сейчас, глядя в его самоуверенные глаза, я отмахнулась от этого предупреждения, заглушила голос разума, улыбнулась ещё шире и сделала свой первый шаг в бездну:

— Привет, Вадим!

Глава 3. Ника. Контур замкнутого круга

Скрывать наши встречи с Вадимом оказалось на удивление легко. Тётушка Аглая, несмотря на свой тотальный контроль, была заложницей нашего двора. Она покидала свою территорию неохотно — разве что за продуктами на рынок или на дачу к близкой подруге.

Но главным моим сообщником в этой тайне была я сама. Вернее — моя слепая, ввевшаяся в подкорку привычка оберегать маму. Мама всегда была хрупкой. Тонкая, консерваторская певица, у которой когда-то давно не задалась большая карьера, отчего она всю оставшуюся жизнь тихо преподавала в районной музыкальной школе.

Папа — учёный, руководивший лабораторией в НИИ, — до развала Союза не дожил совсем немного. Именно он оставил мне эталон поведения с мамой. Он относился к ней с какой-то рыцарской, почти библейской трепетностью: без повода приносил цветы, доставал её любимые духи, покупал билеты на дефицитные премьеры. Он словно всю жизнь чувствовал себя виноватым за то, что её певческий дар так и остался заперт в стенах детской музыкалки.

Папа ушёл, но эту обязанность — оберегать маму от малейших сквозняков суровой реальности — он по наследству передал мне. И потому я физически не могла привести Вадима в нашу квартиру. Наша пахнущая старыми нотами, тишиной и полированным деревом цитадель просто не выдержала бы его присутствия. Я панически боялась увидеть, как Вадим в своём шуршащем спортивном костюме, с его крайними манерами и тяжёлым лексиконом качка, ворвётся в мамин хрупкий мир. Важно было защитить маму от его грубости.

А Вадима — от маминого безмолвного, раненого взгляда, который мгновенно обнажил бы всю его духовную нищету. Я даже просто не могла поговорить с ней о нём, не представляя, как начать подобный разговор. Впервые в жизни я не понимала как себя вести.

Но и сам Вадим, как я теперь уже знаю, струхнул перед Вероникой Андреевной ничуть не меньше.

... Он, парень с рабочей окраины, выросший в безликой панельке с вечно пьющим отцом и затурканной матерью, прекрасно понимал, что я птица не его полёта. Университетов он не оканчивал, но у него был звериный, обострённый инстинкт парня из качалок 90-х. Мою уловку в сквере он раскусил, правда, не сразу. Но когда на следующий день Вадим снова вернулся на свою дорожку и застал меня на той же скамейке, лучезарно улыбающуюся ему как старому знакомому, в нём проснулся охотничий азарт. Да, его сбивало с толку, что я умная, учусь в аспирантуре, преподаю в университете, человек из другого мира. Но ещё легче он просчитал главное: я на него «запала». И Вадим, мгновенно надев привычную маску супермачо, принялся методично ощупывать мои границы.

Наше первое свидание в полутёмном, дешёвом кафе подальше от центра началось с очередного оглушительного щелчка по моему самолюбию. Вадим вальяжно развалился на стуле, небрежно подозвал официанта и, глядя на меня в упор, заявил:

— Ну чё, Маша... Или, как тебя там? Лена? Таня? Короче, малышка, заказывай, я плачу. Для такой красотки ничего не жалко.

Внутри меня в ту секунду всё перевернулось и закипело от ярости. Мой разум отчётливо кричал:

— Встань и уйди! Это слишком. Никто не смеет так с тобой разговаривать!

Но тело словно окаменело. Какая-то тёмная, непреодолимая сила, которой я до сих пор не могу найти логического объяснения, удержала меня на месте. Я осталась сидеть за этим липким столиком, выдавив из себя очередную, пусть и не слишком искреннюю улыбку.

Я могла разложить на формулы любую теорию вероятностей, но не могла объяснить, почему меня тянет к этому человеку. В нём не было ничего от моего мира — ни ума, ни деликатности, ни вкуса. Он был грубым, бесцеремонным и опасным. Мой разум кричал: «Беги», а тело и подсознание словно цепенели. Это была не любовь. Это был какой-то глухой, животный гипноз, логическую ошибку в котором я просто не могла обнаружить.

В его же отсутствие всё менялось. Стоило Вадиму исчезнуть из зоны видимости, как ко мне мгновенно возвращалось рации. Я шла домой по переулкам, писала диссертацию, проводила семинары, дышала полной грудью и твёрдо, отчётливо понимала: маме он не понравится ни при каких обстоятельствах, тётя Аглая съест меня живьём, этот человек разрушит мою жизнь, нужно прекратить это дурацкое общение, с таким нельзя иметь ничего общего. Формула была очевидной. Ответ сходиллся. Но, как только Вадим снова появлялся на горизонте своей наглой спортивной походкой, как вся моя воля, весь мой бойцовский характер испарялись, уступая место пугающей покорности. Каждое свидание становилось для него проверкой: А что ещё она проглотит?

И я всё глотала.

Через неделю Вадим назначил встречу в том же сквере — будто мы снова были случайными знакомыми. Я, как всегда, пришла раньше и минут двадцать просидела одна, наблюдая вечерние тени.

Он явился без единого слова извинения — с таким видом, будто время касалось всех, кроме него.

— Заждалась? — спросил вместо «привет», усаживаясь слишком близко.

— Двадцать минут, — сухо ответила я.

— Ух ты, а почём у тебя минута? Ладно, ладно, извини, — он пожал плечами, а через секунду посерьёзnel:

— Слушай, а это кто, с которым ты вчера от метро шла, — кто он тебе?

Я не сразу вспомнила — Эдик Малинин — аспирант с параллельной кафедры, мы вчера горячо обсуждали статью нашего декана.

— Коллега, — сказала я. — А что?

— Да ничего. Просто у тебя таких «коллег» много? Ходишь, улыбаешься.

— Вадим, я преподаю в университете. У меня здесь коллеги — почти все.

— Ты мне зубы умными словами не заговаривай, — оборвал он резко, и лицо его переменялось так быстро, что я не успела даже испугаться.

— Я не тупой. Скажи прямо: есть у тебя кто, кроме меня, или нет?

Что-то во мне ясно кричало: это неправильный вопрос, заданный неправильным тоном, и единственный верный ответ — встать и уйти. Вместо этого я зачем-то принялась перечислять имена, объяснять, кто есть кто, — будто и правда была виновата.

Вадим слушал молча, разглядывая меня, как экзаменатор. Когда я замолчала, он вдруг улыбнулся, легко, без следа прежней тяжести.

— Ну вот видишь. А то я уж подумал.

Вставая со скамейки, он потянул меня за руку, будто ничего не случилось.

— Ну, двинули?!

Мы пошли рядом, и я не находила ни одного точного слова для того, чтобы описать произошедшее, — хотя всю жизнь гордилась именно тем, что слова у меня находятся для чего угодно.

...Капкан захлопывался медленно, но верно. И пик наглости случился в обычный вечер, всего через несколько недель после нашего знакомства, когда Вадим вызвался проводить меня до дома.

Пара остановилась в двух кварталах от переуллка, где жила Вероника. Она панически боялась, что их заметит вездесущая тётя Аглая. Вечер был пронизывающим, пахнущим мокрым асфальтом и выхлопными газами строящейся Москвы.

— Ну всё, мне пора, — она повернулась, чтобы вежливо попрощаться, но договорить не успела. Вадим действовал резко, без предупреждения. Его большая, жёсткая ладонь неожиданно обхватила её лицо под подбородком, намертво фиксируя на месте, и он по-хозяйски, грубо поцеловал её прямо в губы. Вероника испуганно охнула, но не отпрянула. Её безупречное воспитание, её ясный ум и бойцовский характер в эту секунду дали сокрушительную осечку.

Мозг Савельевой, умевший просчитывать бесконечность, просто отключился от шока. Психика не выдержала этой внезапной, первобытной агрессии и словно отделилась от тела, заставив Веронику смотреть на себя со стороны — на бледную девушку, которая безропотно позволяет чужаку самому решать, когда завершить этот непрошенный поцелуй.

Наконец, Вадим небрежно отстранился, вытирая губы тыльной стороной руки.

— Ладно, малышка. Раз не хочешь, чтобы меня видели твои родичи, давай до завтра...

Он развернулся и привычной пружинящей походкой, ни разу не оглянувшись, пошёл в обратную сторону. Ошеломлённая, почти ничего не видящая Вероника брела к дому как в плотном тумане. Земля качалась под ногами, а в ушах звенел всё тот самый, но теперь уже оглушительный набат тревоги. Вдруг прямо посреди тротуара возникла какая-то тёмная преграда. Сил на анализ этого странного предмета у неё не было, она лишь попыталась на автомате обогнуть его справа. Но преграда синхронно сделала шаг в ту же сторону, полностью перекрывая дорогу. Вероника подняла глаза. Перед ней стояла Соня.

Соник ничего не знала о моём тайном романе — последние недели мы никак не могли встретиться. Она просто устало брела домой после тяжёлой смены в пошивочном цехе театра, думая о том, что дома её ждёт голодный Дик, которого нужно срочно выгулять, поскольку мама уехала на пару дней к сестре в Подмосковьё, оставив её одну. Соня шла, погруженная в эти обычные житейские мысли, пока не увидела в полумраке переуллка жуткую, порабощающую сцену с моим участием и замерла на месте, не в силах отвести взгляд.

Её карие глаза в темноте казались бездонными. В них дрожали слёзы и ярость.

— Что это сейчас было?! — глухо, отчеканивая каждое слово, спросила Соня.

Я судорожно вдохнула сырой воздух, возвращаясь в собственное тело, расправила плечи и посмотрела на подругу сверху вниз, пряча за иронией колотящееся сердце:

— Ну, Соник, во-первых, привет. А во-вторых... Раз уж ты у нас такая взрослая девочка, без пяти минут невеста, и до сих пор не знаешь, то это называется по-це-луй. По-це-луй.

Но Соня не собиралась сбавлять обороты. В критические моменты милая, задумчивая Соня всегда мгновенно сбрасывала свою мягкость. Когда нужно было защищать тех, кого она любила, она становилась похожа на тигрицу, а её голос делался стальным.

— Я прекрасно знаю, что такое поцелуй. Но то, что я сейчас видела, к поцелуям не имеет никакого отношения! Я просто не верю своим глазам, это могло быть с кем угодно, только не с тобой, Рони!

Беспощадная Сонькина правота жгла изнутри, и я ответила чуть осипшим голосом:

— А подглядывать, Сонечка, нехорошо. От этого, знаешь ли, вырастает очень длинный нос.

Меньше всего на свете мне хотелось ссориться с лучшей подругой. Но липкое чувство собственной неправоты всегда делает человека агрессивным. И, не удержавшись, я нанесла опережающий удар:

— Займись побольше собственными делами, Соня. У тебя свадьба на носу. Вряд ли Ромик-хвостик пошевелится без твоих указаний. И тогда у тебя не останется ни времени, ни сил шпионить за другими.

В Сониных глазах отразилась такая глухая, острая обида, что мне захотелось откусить свой язык. Но слово было высказано. Не выдавив больше ни единого звука, Соня сделала шаг назад, резко развернулась и почти бегом бросилась прочь, растворяясь в сыром полумраке. Растерянно я смотрела ей вслед, слушая, как затихает вдали стук Сонькиных каблучков.

Глава 4. Ника. Объединение событий

Время то двигалось, то тянулось, то, стояло на месте, то скакало, то ползло, то просто шло.

Я существовала теперь между кардинально разными полюсами.

На одном полюсе находился дом. Дом, где тихой тенью бродила мама, где отпускала свои ядовитые замечания Аглая, от которой я скрывалась в своей уютной маленькой комнате. В комнате той стояла большая панцирная кровать со старомодными круглыми шишечками, навинченными на столбики по её бокам, большой письменный стол у окна, папино любимое высокое кожаное кресло, перешедшее мне от него по наследству, огромные открытые полки с книгами и учебниками, и такой же старый, как кровать, платяной шкаф с плохо закрывающейся дверцей, из которого вечно вываливалось огромное пуховое зелёное одеяло, купленное мне мамой на случай холодных зим.

На противоположном полюсе теперь окончательно поселился Вадим.

Я не знала, как соединить эти полюса: вводные были мне хорошо известны, но подходящих формул для решения не существовало. Хотя я по-прежнему верила в себя и считала, что решение всё-таки найдётся, нужно лишь чуть больше времени на обдумывание. А пока я пряталась от поисков выхода на университетской кафедре. Там всё шло своим ходом: не утихали бесконечные битвы за расписание, коллоквиумы сменялись семинарами, корректировались индивидуальные планы моей научной деятельности.

Соня совсем выпала из течения моей жизни. Я очень нуждалась в ней, хотела обсудить сложившуюся ситуацию, попытаться объяснить свой выбор, хотя и сама понимала его неясно. И нельзя сказать, что я не делала шагов к примирению: дважды я заходила к ней домой, но её саму не заставляла. Один раз дверь мне открыла Анна Семёновна, втянула за руку в квартиру, затащила в кухню, усадила за стол и начала расспрашивать меня обо мне и маме, попутно отрезая от свежеепечённого капустного пирога пышный душистый кусок. В ответ на мои вопросы о Соне только махнула рукой:

— Да разве её застанешь — премьера на носу, у неё сейчас, как у денщика перед парадом, ни сна, ни отдыха. Приходит под утро, замертво на кровать валится, встаёт — и снова бежать, только чмокнёт в щёку, вся в своих булавах да лоскутах, ни дать ни взять — Хлестакова на курьерских.

Во второй раз я и вовсе никого не застала дома — лишь Дик, давно считавший эту квартиру своей собственной, звонко лаял за дверью в ответ на мой стук.

Но как-то утром, торопясь на работу, я увидела в почтовом ящике красивый большой конверт. Потянула его и достала пахнущий свежей типографской краской бумажный пакет, внутри которого лежали два приглашения — для меня и мамы — на свадьбу Софии Казанцевой и Романа Друбича.

Нужно было срочно искать пути к примирению. Но пока я раздумывала над решением этой задачи, она разрешилась сама и просто — в абсолютно Сонином стиле. В тот же вечер я вернулась домой усталая и взвинченная неприятным разговором со своим научруком, отругавшим меня за затягивание очередной главы диссертации, над которой мы тогда работали. Дверь мне открыла непривычно оживлённая мама:

— А у нас Сонечка сидит! Больше часа тебя дожидается!

Я ринулась в гостиную. Со стоявшего в ней дивана уже поднималась навстречу загорелая, но сильно похудевшая Соня.

— Загорела и похудела, — констатировала я, остановившись и оглядывая её с ног до головы, как переменную, значение которой внезапно и без предупреждения изменилось. — Гастроли?

— Гастроли, — кивнула Соня, улыбаясь во весь рот, и тут же, безо всякого перехода, будто и не было того вечера в переулке, будто вовсе не от меня как от зачумленной бросилась она тогда в темноту, радостно затараторила:

— Ронь, ну что остались силы после грызения гранита науки, хочу тебе эскизы платья показать своего и подружки невесты? Да, подружка невесты?

Она пристально смотрела на меня своими бездонными шоколадными глазищами.

Я даже не сразу нашлась, что ответить — настолько легко, без единого слова о случившемся, она перепрыгнула через всё, что между нами произошло в тот памятный вечер. Я так не умела. Я бы, наверное, ещё неделю выстраивала подходящую формулу примирения, вычисляла верную последовательность слов. А Соне для этого не требовалось ничего, кроме желания снова быть рядом.

Наконец я решила, что подходящие слова найдены:

— А приглашения зачем же в ящик бросили? Уж подружке невесты можно было всё-таки и лично вручить.

Соня фыркнула и закатила глаза с таким выражением, с каким обычно рассказывают о совсем безнадёжных, но горячо любимых родственниках.

— Это отдельная история, — она махнула рукой. — Я с гастролей звонила Ромке, ругалась, что приглашения ещё не готовы — макет мы с одним художником давным-давно утвердили, я и говорю:

-- Беги, срочно печатай, только Нике и её маме сама занесу, когда вернусь, лично. А Ромка, видимо, только первую половину фразы услышал — про «беги, печатай» — и всё, отключился, ничего больше не слушал. Примчался, забрал готовые конверты и куда, ты думаешь, рванул в первую очередь? К тебе. Только заходить не решился, просто в ящик опустил.

— Он меня до сих пор боится, — констатировала я не без удовольствия.

— Он тебя будет бояться до самой смерти, — серьёзно кивнула Соня. — Я ему говорю: Рома, это же Ника, а не прокурор. А он мне: у неё взгляд такой, будто она уже мысленно меня на ноль умножила.

Я расхохоталась — впервые за долгое время не натужно, не для вида, а по-настоящему.

— А с рестораном как, определились уже? — спросила я.

Соня на секунду замаялась, будто подбирая слова, потом улыбнулась:

— Ромка нашел неплохой вариант, — сказала она чуть быстрее, чем следовало, и тут же поспешно перевела разговор на платье.

Я не стала докапываться. Что-то подсказывало мне, что «Ромка нашел» как и обычно означало «Соня выбрала сама, а Ромке просто сказала, куда прийти», но выяснять это вслух означало бы дать себе лишний повод для шутки про хвостик — а рушить атмосферу вечера я не хотела.

Потом мы ещё смотрели эскизы платьев, они были безупречны, в соответствии с тонким художественным вкусом Сони. И мои мерки, и мои пожелания она знала на зубок.

Мы ещё обсуждали список гостей, вернее, Соня зачитывала имена, а я давала им четкие короткие характеристики, как вдруг случилось то, чего я не помнила уже много лет: мама поднялась, ни с того ни с сего подошла к закрытому пианино, откинула крышку и, будто продолжая какой-то свой внутренний разговор, начала играть.

Мама, вопреки очевидному, не пела дома для себя. Голос, который каждый день звучал в стенах музыкальной школы для чужих детей, дома молчал годами, будто певческий дар, единожды запертый, умел открываться только по расписанию, только для чужих, но не для собственной дочери и уж тем более не для себя самой или Аглаи.

Мы с Соней замолчали одновременно, не сговариваясь, — так замолкают, когда боятся спугнуть что-то очень нежное. Мамин голос, тот самый, консерваторский, много лет скрытый от нас где-то на дне ее души, зазвучал в гостинной впервые за целую вечность — чистый, высо-

кий, немного дрожащий сначала, а потом всё увереннее. Я не помню, что она пела. Помню только, что смотрела на Соню, а Соня смотрела на маму, и в её глазах стояли слёзы — те самые, детские, которые появлялись у неё всякий раз, когда она видела что-то, по её словам, «слишком красивое, чтобы не заплакать».

Когда мама закончила и опустила руки на клавиши, несколько секунд в комнате стояла звенящая тишина. Потом Соня хлопала первой, а за ней и я — и мама, смутившись, как девочка, вдруг так музыкально рассмеялась.

- Ну, Екатерина Павловна, если вы откажетесь на моей свадьбе спеть, ноги моей не будет больше в этом доме! — Соня, сияя, смотрела маме прямо в глаза.

Удивительно, как и все в тот вечер, но мама не стала отказываться, а только чуть кивнула в знак согласия:

-- Конечно, моя девочка, конечно, мне так хочется, чтобы ты была счастлива всю свою долгую-долгую жизнь, я обязательно спою все, что ты захочешь.

Потом добавила:

- Если пианино будет.

- Не переживайте, тетя Катя. Не то, что пианино, рояль будет, самый настоящий рояль, — и Соня улыбнулась, как умела улыбаться только она.

В один из вечеров, когда я уже почти забыла, чего жду — звонка или тишины, — Вадим подкараулил меня у самого выхода из университета. Я заметила его не сразу: он стоял чуть поодаль, у ограды сквера, засунув руки в карманы, и смотрел на здание вуза снизу вверх с тем особенным выражением, какое бывает у человека, разглядывающего то, что ему явно не по карману. Огромные окна, тяжёлые двери, из которых свободно, не оглядываясь, входили и выходили люди в строгих пиджаках, с папками подмышкой — для него всё это было чужим миром, куда его не звали и куда сам он никогда бы не сунулся без крайней нужды.

Я как раз что-то втолковывала двум своим студенткам — кажется, про распределение Пуассона, которое у них упорно не желало сходиться на семинаре, — и краем глаза заметила, как Вадим, увидев меня в этой роли, весь как-то подобрался, посуровел лицом. Позже я поняла: это была зависть, самая обыкновенная, мужская, уязвлённая зависть — оттого что я здесь своя, а он тут гость, которому не полагается даже расписания.

Справиться с этим чувством по-другому Вадим не умел — только показать что-то в ответ. Едва мы отошли от здания, он выудил из кармана куртки увесистый, с торчащей антенной телефон и, будто невзначай, повертел его в руке.

— Слышала про такие? Мобильный, — сказал он с гордостью человека, показывающего долгожданный трофей. — Кореш подогнал.

По правде говоря, зависти к Вадиму я не испытывала ни малейшей — и на аппарат смотрела с чисто научным любопытством: мне, как и любому, кто обитал на кафедре точных наук, было по-настоящему интересно, как эта штука вообще работает в реальности. Я повертела телефон в руках, разглядывая антенну, спросила о дальности сигнала, — и Вадим, кажется, вновь расстроился, из-за того, что я не оценила статус вещи ровно так, как он рассчитывал.

Мы пошли дальше, обсуждая какие-то мелочи, и, когда поравнялись с рестораном — тем самым, знаменитой на весь город «Прагой», с её зеркальными залами и вечной вереницей чёрных машин у входа, — я, погружённая в свои мысли о предстоящей Сониной свадьбе, вздохнула вслух, не обращая ни к кому конкретно:

— Вот сюда бы Соне, да разве по карману такое — это же сумасшедшие деньги за один банкет.

— А зачем тебе туда? — тут же встрепенулся Вадим, явно сбитый с толку. — Хочешь — устрою. У меня тут есть знакомые, ещё и скидку сделают.

— Да не мне, — отмахнулась я. — Соне, подруге моей. Свадьба у неё скоро. Но не нужно уже ничего устраивать: они с Ромкой другое место нашли, у Сони в театре, рояль там точно есть, мама моя обещала спеть для них.

Вадим ничего на это не ответил — только чуть заметно, перекатились желваки на его скулах. Я тогда не придавала этому особого значения. Да я и никак не могла вообразить, что каким-то немыслимым образом в очередной раз задела его самолюбие. Гораздо позже до меня дошло, что в его голове все эти люди, вещи и события сплелись в блестящий разноцветный шар недостижимой для него галактики. Как ребенок, лишенный в детстве элементарной заботы и тепла, он жаждал реванша и бесился от мысли, что по-прежнему есть в этом мире что-то ему недоступное, даже если оно и не было ему нужно.

— Ну, дело хозяйское, — сказал он наконец, с деланным равнодушием. — Я ж понимаю, что я посторонний. А в каком театре она работает? Подруга твоя?

— В театре, Вадим, не работают, а служат, — зачем-то заявила я.

— Ну, есенно! — лениво процедил Вадим.

В голосе его не было ни капли обиды — только спокойная, будничная констатация факта. Теперь, вспоминая тот вечер, я различаю за этим спокойствием совсем другое: глухую, вызревающую где-то в глубине уязвлённость, которой предстояло взорваться далеко не сразу — но обязательно взорваться. В тот же момент я наивно считала, что в этой ситуации нет никакого повода для обиды и, приняв его расспросы за искренний интерес, стала в подробностях рассказывать ему о нашей дружбе с Соней, о её работе, о маме и о предстоящем важном событии.

Зал театрального фойе, который Соне выделили по доброй дружбе с завхозом, был украшен настолько скромно и настолько со вкусом, что сразу становилось ясно: тут работала не свадебная индустрия, а человек, который умеет из ничего сделать красоту — тюль, немного живых цветов, десяток свечей в старых театральных канделябрах, найденных, видимо, где-то в реквизиторской. Соня, в платье собственного пошива — простом, без единой лишней складки, но с таким безупречно точным кроем, что даже я, совершенно не разбирающаяся в моде, ощутила что-то похожее на восхищение точной формулой, — казалась абсолютно, до неприличия счастливой.

Гостей было немного — человек тридцать, не больше, и почти все — люди, у которых, что называется, было что сказать: несколько театральных, острых на язык, но безупречно интеллигентных в своей иронии — из тех, кто умеет пошутить на грани, ни разу через неё не переступив; мы с мамой; Анна Семёновна — сдержанная, прямая, в неброском, но явно дорогом костюме, с той особенной осанкой, которая появляется у человека после многих лет выступлений перед классом, Анна Семёновна всю жизнь преподавала русский язык и литературу в одной престижной московской школе; рядом с ней — её троюродная сестра откуда-то из Подмосковья, Валентина, попроще манерами, но тоже, видно, из «своих», начитанных, — она то и дело вставляла в разговор цитаты, слегка их путая, чем немало веселила окружающих. За соседним столом сидела совсем древняя, сухонькая старушка в старомодной шляпке — Ромкина бабушка, единственная его родня на этом празднике; она почти не вставала с места и смотрела на внука с выражением тихой, немного растерянной гордости, будто до конца не веря, что дожила до такого дня.

Тосты пошли один за другим. Анна Семёновна говорила недолго, но каждое слово было точным, как и полагается человеку, всю жизнь учившему детей ценить хорошую фразу. Потом поднялся кто-то из театральных, вроде бы, помощник режиссёра, и произнёс тост, изящно вплетя в него цитату не то из Шекспира, не то из какой-то текущей постановки — про то, что «браку, как и хорошей пьесе, нужна крепкая режиссура, но лучшая режиссура — та, которую никто не замечает». Зал одобрительно засмеялся — умно, не грубо.

А потом наступила тишина иного рода — мама вдруг поднялась со своего места, стягивая с плеч шаль, в которую до этого времени куталась. Я совсем не узнала платье, в которое она была одета: тёмно-синее, длинное, с каким-то благородным старомодным блеском в ткани — я готова была поклясться, что никогда не видела его прежде. Оказывается, всё это время в глубине маминого гардероба хранился целый пласт её прежней жизни, о которой я, если вдуматься, почти ничего не знала.

Она подошла к старому роялю в углу зала, села, чуть крутанув вращающийся табурет, взмахнула руками, нежно касаясь клавиш и запела. Голос её, который я помнила только домашним, приглушённым, здесь, в акустике высокого зала, вдруг раскрылся во всю свою настоящую силу — и я поняла, поражённая, что все эти годы слышала лишь бледную тень того, кем она когда-то была. Зал стих мгновенно и полностью, так стихают только тогда, когда происходит что-то настоящее. Я смотрела на её прямую спину, на руки, уверенно лежащие на клавишах, и чувствовала, как к горлу подкатывает совершенно ненаучное, необъяснимое ни одной формулой чувство. Это был её звёздный час, украденный когда-то жизнью и вот, спустя столько лет, ненадолго ей возвращённый.

Зал разразился овациями, кто-то, кажется, даже крикнул «браво!» настолько искренне, что это совсем не выглядело театральным жестом. Соня смотрела на мою маму, восторженно и, наверное, как обычно, видела что-то ещё в этой сцене, недоступное мне.

Я обернулась, чтобы ответить сидящей рядом со мной черноволосой невысокой девушке, бывшей Сониной однокурснице, которая спрашивала меня, где моя мама училась петь, и в ту же минуту мой взгляд наткнулся на боковой столик у самой стены.

Там, слегка покачиваясь на стуле, закинув ногу на ногу с видом человека, будто он тут свой, сидел Вадим.

Мои же ноги вдруг стали ватными, будто из них разом выкачали весь воздух. Прервав фразу на полуслове, я резко встала и двинулась к его столику, ещё не зная, что скажу, зная только одно: его нужно как-то, любым способом, вывести отсюда — тихо, без скандала, до того как его заметит кто-то ещё.

Соня, которая как раз возвращалась от рояля, — мама всё ещё стояла там, оживлённая, раскрасневшаяся, принимая аплодисменты и чьи-то просьбы спеть ещё что-нибудь, — оказалась куда ближе к тому столику, чем я. Она ещё не видела Вадима — я была почти уверена в этом, — но, кажется, что-то в моём лице заставило её замедлить шаг и обернуться в ту же сторону, куда смотрела я.

Она развернулась и, опередив меня на несколько решительных шагов, оказалась у столика первой.

— Что вы здесь делаете? — её голос прозвучал ровно, ледяным, звенящим тоном, каким, наверное, должна говорить женщина, чувствующая свою полную правоту.

Вадим, до этого сидевший вальяжно, покачиваясь на стуле, вдруг весь подобрался. Я уже знала эту его слабость — не то чтобы знала осознанно, скорее чувствовала кожей: он терялся перед женщинами вроде Сони. Смелыми, красивыми, из того самого другого мира, куда он сам, впервые, благодаря мне, начал приближаться совсем недавно. Со мной он быстро научился быть уверенным, даже наглым — я сама, своей уступчивостью, невольно способствовала этому. Но здесь, перед чужой решительностью, он не знал, как себя вести, и это незнание делало его на мгновение почти жалким.

— Я это... к Нике, — пробормотал он, зачем-то пытаясь встать со стула и запутавшись в собственных ногах. — Мы знакомы вообще-то.

К этому моменту я уже успела подойти вплотную и, вопреки всякой логике, вопреки всему, что чувствовала минуту назад, испытала вдруг совершенно необъяснимый порыв защитить его, но сделать это как можно быстрее и тише.

— Соня, всё в порядке, — быстро проговорила я, вставая почти между ними. — Это Вадим. Мой... знакомый. Он здесь совершенно случайно, я сейчас всё улажу.

— Зачем ты его сюда позвала? — вдруг почти выкрикнула Соня, и от этого крика несколько голов за соседними столами повернулись в нашу сторону.

— Я его совсем не звала сюда! — вспыхнула я в ответ, и в этой вспышке смешалось сразу два совершенно противоположных чувства: облегчение оттого, что всё наконец открылось само, без моих усилий и объяснений, и липкий, подступающий к горлу ужас, потому что краем глаза я уже видела, как в нашу сторону, спешит мама.

Она шла торопливо, но длинное платье сковывало ее движения, раскрасневшаяся, помолодевшая от только что пережитого восторга, будто музыка и аплодисменты сбросили с неё разом лет двадцать. Но мы с Соней уже не замечали ничего вокруг, кроме друг друга, швыряясь обвинениями настолько нелепыми, что, будь у меня в ту минуту хоть капля способности мыслить трезво, я бы, наверное, рассмеялась. Вадим, слушая, как я фактически защищаю его перед Соней, снова начал наливаясь привычной самоуверенностью, снова выпрямился на стуле, снова стало заметно, как он смотрит на происходящее с ленивым, почти довольным превосходством.

Ещё несколько секунд и мама оказалась рядом, ничего ещё не понимая, она не могла сразу взять в толк, что могло произойти между двумя её любимыми девочками в такой день. Но постепенно, слово за словом, до неё стал доходить смысл того, из-за чего мы спорили. Она перевела взгляд на Вадима, на его спортивный костюм, совершенно неуместный на свадебном банкете, на золотую цепочку, утонувшую в складках короткой шеи, на синеватые тени наколок на пальцах и её лицо на моих глазах изменилось.

— Доченька, кто это? — прошептала она своим тихим, домашним голосом, тем самым, каким обычно спрашивала, не голодна ли я. — Спаси тебя бог от такого выбора.

Из её уст, привыкших к совсем другим интонациям, эти слова прозвучали особенно страшно, не как оскорбление, а как приговор, произнесённый в полной убеждённости собственной правоты.

У меня перехватило дыхание. Соня тоже замолчала и лишь смотрела на меня с кривой, невесёлой усмешкой, в которой было гораздо больше горечи, чем торжества.

И, может быть, всё бы ещё удалось как-то замять, свести к неловкой, но не смертельной сцене, если бы в эту самую секунду мой взгляд не упал на Ромку, привычно прячущегося за спинами, сгрудившихся вокруг нас гостей.

Что-то во мне сорвалось в один миг, будто перегорел предохранитель. Вся ярость, всё унижение этого вечера нашли себе, наконец, удобную мишень.

— На своего избранника лучше посмотри, — выпалила я, глядя прямо на Соню, уже не в силах остановиться, — это же не человек, а безвольный хвост, который всю жизнь будет плестись у тебя в ногах!

В зале стало совсем тихо. Я обернулась к Вадиму.

— Пойдём. Нам здесь не рады.

А потом, уже тише, почти шёпотом, повернулась к маме:

— Мама, не волнуйся, пожалуйста. Я тебе потом всё объясню.

Даже в ту минуту, когда всё внутри меня тряслось от непонятной ярости, я помнила папин завет — маму нужно беречь.

Глава 5. Ника. Точка пересечения

Я потянула Вадима за руку, и мы оказались на тротуаре у театра — оба молчащие, оба погружённые каждый в своё. Я рассеянно смотрела по сторонам и вдруг зачем-то заметила: на улице уже осень. Тонкая, ранняя, почти неотличимая от лета — но всё же настоящая, с особым горьковатым запахом влажной листвы.

- Смотри, как воздух в сентябре становится честным — сквозь него видно дальше, чем летом, — вспомнила я вдруг Сонину фразу, сказанную когда-то давно. От этого воспоминания в груди на секунду разлилось что-то тёплое, почти нежное, та особенная нежность, с которой вспоминаешь чужую, давно выученную наизусть привычку. Но тут же следом пришло другое чувство, куда более острое: я вспомнила, что именно с этой самой Соней только сейчас разругалась вдребезги, и нежность обернулась почти физической тоской по чему-то уже, кажется, безвозвратно потерянному. А следом — не успела я опомниться — накатило раздражение, злое, глухое не столько на Соню, сколько на себя за то, что даже сейчас я не могу отпустить её из сердца.

- К чёрту Соню, — оборвала я сама себя. — Осень — это просто осень. Понижение среднесуточной температуры, только и всего.

Вадим вёл себя непривычно тихо. Он молчал, глядя куда-то в сторону, а потом вдруг без единого слова, стянул через голову свою толстовку и неловко, совсем не по киношному, накинул её мне на плечи — то ли заметив, что я дрожу, то ли просто не зная, чем ещё заполнить это молчание между нами. Потом посмотрел мне в глаза впервые внимательным, спокойным взглядом и протянул в своей неподражаемой манере:

— Ну и рубилово вышло.

Я закуталась в толстовку молча — тяжёлую, пахнущую незнакомым одеколоном и немного потом — и почувствовала что-то, чему не могла подобрать ни одного точного слова, ни одной подходящей формулы, при всей своей привычке объяснять всё на свете.

Остаток ночи мы просто бродили — без всякого плана, без всякой цели, как бродят только по-настоящему свободные или по-настоящему растерянные люди. Москва в тот час была совсем тихой: пустые, гулкие проспекты, редкие, устало ползущие троллейбусы, мокрый после недавнего дождя асфальт, отражающий фонари неровными, дрожащими полосами. Мы прошли, кажется, через половину центра — мимо каких-то тёмных, спящих витрин, мимо набережных в граните, мимо чугунных оград бульваров, — почти не разговаривая, просто идя рядом, и в этом молчании было что-то новое, совсем не похожее на прежнюю неловкую тишину.

У одного из мостов Вадим остановился, аккуратно повернул меня к себе за плечи и поцеловал — совсем не так, как в тот страшный вечер в переулке. На этот раз в его движении не было ни напора, ни хозяйской уверенности — только неожиданная, почти пугающая, наверное, его самого, осторожность. И я, вопреки всему, что уже понимала о нём, вопреки тем самым звонкам тревоги, не смолкавшим во мне с первого дня нашего знакомства, позволила себе на одну короткую минуту довериться — не рассудком, а чем-то совсем другим, что рассудку не подчинялось.

Светало, когда мы подошли к моему двору. Вадим довёл меня почти до самого двора, но внутрь заходить не стал — я бы и не позволила: в доме на углу, на первом этаже, жила Аглая, чьё окно смотрело ровно на детскую площадку и на всех, кто через неё проходил, а сил на очередную бурю с тёткой у меня этой ночью попросту не было. Мы попрощались коротко, и я, стараясь ступать как можно тише, поднялась к себе.

В квартире стояла плотная тишина. Я на цыпочках прошла мимо маминной двери — закрыта, значит, спит, — решила я с облегчением, надеясь, что весь этот трудный разговор

удастся хотя бы ненадолго отложить, — и скользнула в свою комнату. Включила ночник, находящийся прямо у двери.

На моей кровати, укутанная в зелёное пуховое одеяло, сидела мама и пристально, не мигая, смотрела прямо на меня.

— Мама, ты чего не спишь? — спросила я, хотя вопрос прозвучал глупо: ответ был очевиден.

Она не ответила сразу. Только плотнее закуталась в одеяло, будто оно могло защитить её от того, что она собиралась сказать.

— Как ты могла испортить Соне такой день, Вера? — произнесла она наконец, и голос её дрогнул, но не сорвался — мама всегда умела держать его ровным, даже когда внутри у неё всё рушилось. — Ты устроила там... не знаю даже, как это назвать.

Я молчала, не зная, с чего начать оправдываться — да и не была уверена, что хочу оправдываться вообще.

— И ладно бы только это, — продолжала мама. — Я никогда не понимала твоих нападков на Рому. Ну да, ты имеешь право на своё мнение, но есть же какое-то элементарное воспитание. Говорить всё это прилюдно, на его собственной свадьбе! Он хороший, мягкий, добрый, музыкальный мальчик. Ведь он сирота, у него, кроме бабушки, никого во всём мире нет...

— Мама, он слизняк, — оборвала я резче, чем хотела, понимая всю справедливость её слов. Но меня уже опять несло: — Ромка — пустое место. Ромка — Сонин хвост. Будет всю жизнь у Сони под каблуком сидеть, лишь бы ничего не решать самому.

— Детский сад какой-то, — мама вновь подняла на меня глаза. — А твой-то, выходит, лучше? — тихо спросила она, и от этого вопроса было тяжелее, чем от крика. — Твой отец в гробу бы перевернулся, если бы увидел, кого ты...

Она недоговорила — само слово, которым ей хотелось назвать Вадима, казалось, видимо, слишком грубым для этой комнаты, для нашего дома.

Я стояла у двери, всё ещё в его толстовке, и чувствовала, как во мне поднимается знакомая волна упрямства — та самая, что срабатывала во мне всегда, стоило кому-то попытаться решить за меня, что мне можно, а что нельзя.

— Мама, это моя жизнь, — сказала я тихо, но твёрдо. — Я взрослый человек. Я сама разберусь, с кем мне быть. А ты судишь по внешности, хотя всегда говорила, что это недостойно культурного человека.

Она хотела что-то возразить — я видела, как дрогнули её губы, как она даже набрала воздуха для новой фразы, — но вдруг словно резко погасла, обмякла, как догоревшая свеча. Слишком устала. Слишком боялась. Слишком сильно любила меня, чтобы продолжать бой, победить в котором у неё не было ни единого шанса.

— Я не хочу с тобой ссориться, — сказала она наконец очень тихо. — Слишком боюсь тебя потерять, Вера. Ты у меня одна.

Что-то во мне дрогнуло от этих слов сильнее, чем от любых обвинений. Я подошла к кровати и присела на край, и мама, помедлив всего секунду, приподняла край одеяла, приглашая меня. Я нырнула внутрь, прижалась к ней, вдыхая знакомый с детства запах — то ли её духов, то ли просто дома, — и на несколько долгих минут мир снова стал таким простым и надёжным, каким был когда-то очень-очень давно. Нам было невероятно тепло и хорошо вдвоём под этим одеялом. Но какой-то другой, отдельной, холодной частью рассудка — той самой, что никогда во мне полностью не засыпала, — я уже знала: этого перемирия надолго не хватит.

Аглае какой-то доброхот, конечно, рассказал о произошедшем на свадьбе, но поскольку там вряд ли кто-то что-то толком понял, сведения были обрывочные, в единый пазл не складывались. Аглая, как обычно, в таких случаях, принялась пытаться маму. Мама нашла свой привычный в таких ситуациях способ обороны — ушла в глубокое молчание. Со мной Аглая до

поры до времени не связывалась: она хорошо знала меня и мой характер и, как правило, бросалась в бой, лишь накопив достаточно ресурсов для атаки.

Жизнь возвращалась в привычную колею. Краем уха я услышала, что Соня с Ромой отправились в свадебное путешествие в Таиланд.

Через несколько дней после случившегося я наткнулась во дворе на Анну Семёновну, возвращавшуюся с работы из школы. Подтянутая, в строгом чёрном костюме и белой блузке, с красиво собранным на затылке узлом густых, чуть тронутых сединой тёмных волос, она производила то самое впечатление, которое оставляют только женщины, преданно посвятившие себя своему делу. Немногие знали о совсем другой стороне её характера: теплоте, гостеприимстве и удивительном чувстве юмора, которое бывает только у ясно и глубоко мыслящих людей.

Она увидела меня раньше, чем я её заметила, и остановилась, поставив сумку с тетрадами на скамейку у детской площадки.

— Добрый день, Ника, — сказала она, тепло улыбаясь мне.

— Здравствуйте, Анна Семёновна.

Мне было несколько неловко: я, как стало часто случаться в последнее время, не знала, как себя вести, как разговаривать.

— Как твои дела? — спросила она всё так же спокойно.

— Спасибо. Всё хорошо. А вы как?

— Ну, как я, — смеясь, ответила она, показывая взглядом на стоявшую рядом сумку, набитую одинаковыми зелёными школьными тетрадами. — Вот несу себе развлечение. Сочинения по Чехову — вечер юмора мне обеспечен.

Я немного облегчённо улыбнулась в ответ. С Анной Семёновной было всегда легко, она чем-то напоминала мне папу — ей не требовалось что-то долго объяснять. В тот же момент Анна Семёновна, безо всякой связи с только что сказанным, добавила:

— Молодость — время такое: есть — да, есть — нет, а оттенков не видишь. Я и Софии то же самое сказала. В жизни всё может случиться: родители умирают, мужья уходят, дети вырастают, а дружба — это то, что может в какие-то моменты остаться единственным маяком, который светит.

У меня выступили слёзы на глазах от её слов, хотя обвинить меня в сентиментальности и слезливости не смог бы никто.

А потом Анна Семёновна крепко меня обняла, и я потянулась к ней в ответ — и только сейчас заметила, что в арке, ведущей из двора, стоит, приоткрыв от изумления рот, Аглая со своими неизменными левретками...

Осень сменилась зимой почти незаметно, как это всегда бывает в Москве — вроде бы вчера ещё шуршали под ногами палые листья, а сегодня уже скрипит под каблуками первый ледок. Жизнь моя тем временем текла по двум руслам, которым я старательно не давала пересекаться.

На кафедре всё шло своим чередом: зимняя сессия, бесконечные приёмы задолженностей, растущая как снежный ком, стопка контрольных работ моих семинарских групп, которые нужно было проверить до Нового года. Научрук снова взялся за меня с прежним усердием — очередная глава диссертации, очередные сроки, очередное его коронное: «Вероника Андреевна, у вас голова светлая, а руки ленивые», которое я про себя каждый раз опровергала цифрами: сколько часов я вела семинаров, сколько тетрадей проверила, сколько раз ночевала над формулами.

С Вадимом мы виделись урывками — он то пропадал на несколько дней без объяснений, то, наоборот, настойчиво требовал моего времени именно тогда, когда меньше всего было возможности его выкроить. Я злилась на его непредсказуемость, но — что пугало меня куда

больше злости — начинала подстраивать под неё собственное расписание, будто это было в порядке вещей.

С Соней не встречались теперь вовсе — не только из упрямства, но и по чистой логике: она сама с обычной своей стремительностью, нашла им с Ромой квартиру где-то поближе к театру, чтобы не терять время на дорогу после ночных репетиций перед премьерами. Ромка, разумеется, не возражал — не думаю, чтобы у него вообще нашлось мнение по этому вопросу.

Дика с собой взять они не смогли: новая квартира была слишком тесной, да и Соне, вечно пропадающей в театре, попросту некогда было с ним гулять, — и пёс остался у Анны Семёновны. Однажды, возвращаясь из института, я вновь столкнулась с Анной Семёновной прямо под аркой — та неспешно шла с Диком на поводке, и пёс, завидев меня, радостно рванулся навстречу. Хотя я и не питала любви к собакам, но Дик преданно хранил привязанность и ко мне, держа в своей памяти благодарность за спасение.

— Гуляем вот с ним теперь по очереди, я да соседка, — улыбнулась Анна Семёновна, потрепав Дика по загривку. — Правда, стараюсь пораньше выходить, пока во дворе Аглаи Владимировны нет, не хочу лишний раз пересекаться, прости господи. На той неделе она мне тут целую лекцию прочла — дескать, приличные люди собак без намордника не выгуливают, а Дик наш, между прочим, мухи не обидит.

...А потом, в один из вечеров, когда я замёрзшая ввалилась домой с морозной улицы, мама, перебиравшая ноты в гостиной у стола, завидев меня, негромко произнесла:

— Соня-то беременна, оказывается. Анна Семёновна сегодня во дворе сказала.

Я застыла в дверях. Первым порывом было — бежать. Немедленно набрать её номер, поздравить, помириться, обнять — всё сразу. Но математик остановил во мне истерику.

— Позвоню на днях, — сказала я себе, снимая пальто. Дни складывались в недели. Недели — в месяцы.

Не то чтобы я не думала о ней, думала — часто, слишком часто для человека, который якобы решил жить дальше сам по себе. Иногда, идя мимо знакомых по детству мест, я ловила себя на мысли: вот бы сейчас Соня была рядом, непременно бы заметила какой-нибудь особенный свет в окне, или узор инея на асфальте, и произнесла своё привычное «смотри, как красиво» а я, как всегда, поторопила её куда-то бежать дальше. От этих мыслей становилось так пусто, что хотелось немедленно набрать номер — и тут же откуда-то из глубины снова поднималось упрямство: а кто должна звонить первой?

Зима тем временем тянулась своим чередом — снегопады, замёрзшие лужи во дворе, тяжёлые пуховики на прохожих. Я преподавала, писала диссертацию, ссорилась с Аглаей по мелочам, виделась с Вадимом, когда он появлялся, и продолжала носить в себе эту глухую, невысказанную тоску по Соне...

А потом, вдруг, пришла весна.

...Я возвращалась после очередного семинара на кафедру, когда наперерез мне неожиданно выскочила Саша — диспетчер нашего факультета. Мы были знакомы со студенческих времён и обращались друг к другу на «ты».

— Ника, а я тебя дождаюсь. Тебе мама звонила, два раза.

Мама? Два раза? В первую секунду сердце болезненно сжалось, но потом я включила логику, спеша за Сашей по гулким университетским коридорам. Что могло случиться? С мамой? С Аглаей? С кем-то ещё?

В первую очередь нужно успокоить дыхание. Раз мама звонила сама, значит, с ней всё в порядке. Ну, разве что её в больницу увозят, или, может, в милицию «замели» (смешно) и дали сделать короткий звонок (нелогично, почему тогда два раза звонила?).

С Аглаей? Не верю. Аглая переживёт всех, даже тех, кто ещё не родился.

С кем? Может, дома пожар? А почему мама позвонила в диспетчерскую, а не на кафедру? Ну, скорее всего, нашла только этот телефон, потому что мама, насколько я могу вспомнить, никогда мне на работу и не звонила.

Мы ворвались в диспетчерскую. Сашу тут же за локоток перехватил Сергей Васильевич Савинов, преподаватель статистики, и они бурно принялись что-то выяснять у расписания. Я поспешила к телефону. Тыкала в кнопки, слушала гудки, ждала. Наконец, в трубке послышался родной негромкий голос:

— Аллю!

— Мама! Это я, Вероника. Что случилось?

— Ой, Верочка! Ты извини, я, что-то не подумав, звонила, корю себя теперь.

— Да что случилось, мама? Скажи уже!

Мама взяла небольшую паузу, чуть вздохнула и, наконец, повысив голос, откликнулась:

— Наша Сонечка родила сегодня утром! Девочка!

К горлу подкатил комок. Родила. Ну, как так?! Родила без меня? Эти нелепые мысли проносились в моей голове галопом. Смешно, конечно, было представить, что Соня ждала бы нашего примирения, отодвигая время родов одним волевым усилием.

— Ты меня слышишь, Верочка? — переспросила в трубке мама.

— Да, мама, конечно, слышу. Поздравляю!

В голосе мамы появились редкие весёлые нотки:

— И я тебя поздравляю, Вера! Только вроде бы поздравлять не нас с тобой нужно!

— Да, конечно, мама! Я сейчас обдумаю и решу, что делать.

— Право, Вера! Ну что тут обдумывать, нужно просто ехать!

— Да, мама, — ответила я чуть спокойнее, — у меня сейчас ещё один семинар, а потом поеду. Только скажи куда?

Она продиктовала мне адрес. Я положила трубку и вышла из диспетчерской.

Маме я, впрочем, наврала: семинары на сегодня уже закончились, и в целом можно спокойно ехать прямо сейчас. Но мне хотелось побыть наедине со своими мыслями. Я вернулась на кафедру. В голове невольно поплыли воспоминания: вот мы с Соней на папиной горке, обнявшись, летим вниз; вот идём, взявшись за руки, впервые вместе в школу; вот едем в лагерь на каникулах; вот школьные дни, выпускной; вот первая в жизни совместная заграничная поездка в Турцию...

Нет, хватит воспоминаний! Я нужна сейчас Соне! Решительно встала, одёргивая пиджак. Еду!

Поймала машину прямо у главного входа в институт — частник, «копейка», продавленное сиденье пахло бензином и чужими сигаретами. Уже сидя внутри, глядя в окно на проплывающую мимо Москву, подумала: наверное, стоило съездить домой, переодеться. Строгий деловой костюм, в котором я вела семинар, был как-то неуместен для визита в роддом. Но тут же остановила себя: глупости, какая разница, во что я одета. Ещё через пару кварталов зацепилась мыслью: а не стоило ли купить что-нибудь по дороге — цветы, какую-нибудь мелочь для малышки? Но и эту мысль отогнала: сегодня просто съезжу, а уж что дарить — решу потом, спокойно, не впопыхах.

Двор роддома встретил меня чуть суетливой атмосферой — несколько мужчин топтались на газонах, задрав головы к окнам верхних этажей, кто-то пытался докричаться до своей благоверной, кто-то просто курил, привалившись к дереву.

Замешкалась, не совсем понимая, куда мне теперь идти и что делать.

— Ника?

Я обернулась. Ко мне, как всегда смущённо улыбаясь, подходил Ромка.

Мы не виделись со дня свадьбы — с того злого вечера, когда я во весь голос назвала его «безвольным хвостом» перед половиной зала. Мне, привыкшей всегда точно знать, что сказать

в любой ситуации, сейчас не хватало слов. Но Ромка, кажется, ничуть не помнил обиды или, помнил, но, по своему обыкновению, предпочёл сделать вид, что не помнит.

— Поздравляю, — выдавила я, пересилив себя. — С дочкой.

— Спасибо, — просиял он.

— Друбич, ну ты орёл! — раздалось сбоку. К нам подошли двое, судя по всему, его приятели или коллеги, один из них, невысокий, крепкий, хлопнул Ромку по плечу. — Ну что, бракодел, поздравляю!

Меня будто дёрнуло изнутри от этого слова, от этого глупого, солдафонского юмора. Ромка по обыкновению лишь криво улыбнулся, ничего не ответил.

— Не каждый брак сразу разглядишь, — процедила я, глядя прямо на шутника, вложив в эту фразу всё презрение, на какое была способна.

Тот, кажется, не совсем понял, что именно ему ответили, но что-то в моём тоне заставило его хмыкнуть и отвернуться. Они неловко попрощались и отошли.

Какие-то минуты мы стояли молча, а потом Ромка задрал голову вверх и начал махать руками, глядя куда-то на окна здания. Я проследила глазами направление его взгляда.

Соня стояла у окна на втором этаже — бледная, осунувшаяся так сильно, что я не сразу узнала знакомые черты, а узнав, испугалась ещё больше. То ли это были естественные последствия родов, то ли что-то другое, о чём я тогда и представить не могла, — но вид её несколько пугал.

— Что она худая, такая, — вырвалось у меня. Я не обращалась ни к кому конкретно, но Ромка вдруг ответил:

— Я ей тоже говорю, другие толстеют, когда беременны, а ты всё худее и тоньше становишься. И тётя Аня её ругала всё время: да, что такое, ты скоро звенеть начнёшь, на рельсу похожая. Ромка объедает, что ли? Соня последние месяцы от мамы в театре пряталась, та как ни придёт, а Соня всё в театре. Ей скажешь: Анна Семёновна приходила, ругалась, что ты столько работаешь, а она смеётся — ты теперь зять, тебе и слушать тётчину ругань.

Соня заметила меня почти сразу — и на её лице за одну секунду отразилось сразу два чувства: счастье и что-то похожее на грусть, почти вину. Она улыбнулась мне — широко, узнаваемо, совсем по-детски, — а потом бережно, обеими руками, подняла к стеклу маленький свёрток, показывая свою новорождённую дочь.

Я стояла внизу, задрал голову, чувствуя, как к глазам подступают слёзы, и поняла, что слова, которые я старательно готовила всю дорогу сюда — извинения, объяснения, попытки оправдаться, — оказались попросту не нужны. Единственное, что имело сейчас значение, — это она, живая, улыбающаяся мне сверху, и крошечный кулёк у неё на руках.

День выписки выдался ярким, по-весеннему звонким — один из тех дней, когда даже московские дворы на мгновение перестают быть серыми. С самого утра я металась по городу в поисках подарка, отвергая один вариант за другим — распашонки казались слишком скучными, цветы слишком банальными, — пока не оказалась на Арбате и не увидела его: огромного, нелепого, ярко-розового плюшевого слона размером едва ли не в половину меня. Продащица смотрела на меня с явным сомнением:

— Вы уверены, что это младенцу нужно?

Но я купила именно его. Что-то в этой абсурдной розовой громадине показалось мне единственно правильным подарком: слишком большим, слишком ярким, слишком нелепым для практичного мира — совсем как то чувство, которое я к этой ещё и не виденной толком девочке уже успела испытать.

У крыльца роддома толпился небольшой праздник: воздушные шары, букеты, кто-то уже прилаживал фотоаппарат, ловя нужный ракурс. Здесь были и Анна Семёновна, и та самая её сестра, что была на свадьбе, и моя мама. Стояли ещё Сонины коллеги по театру и вроде бы однокурсницы. Мы все вместе расположились у входа, с нетерпением поглядывая на двери.

Наконец, они распахнулись, и вышла Соня — Рома бережно поддерживал её под локоть, в руках у неё был свёрток, туго спелёнатый в кружевное одеяльце. И в ту секунду, как я увидела её при свете дня, а не через стекло второго этажа, тревога, уже поселившаяся во мне, окрепла ещё сильнее. Соня улыбалась — широко, счастливо, — но улыбка эта будто держалась на одних губах, не достигая измождённых, ввалившихся и оттого, казавшихся ещё огромнее, глаз. Я заметила, каким тревожным взглядом смотрят на Соню её и моя мамы.

Но в следующую секунду все тревоги потонули в общей суете — объятия, поцелуи, смех попеременно со слезами, кто-то щёлкал фотоаппаратом.

— На, поддержи, — вдруг сказала Соня, оборачиваясь ко мне, без всяких предисловий перекладывая свёрток мне на руки, будто между нами никогда и не было той долгой, глухой паузы длиной в целую беременность.

Я взяла его — легче, чем ожидала, будто держала не человека, а облако, — и заглянула в крошечное, сморщенное личико. И тут же, совершенно неожиданно для себя, узнала в ней Соню — те же дуги бровей, тот же изгиб верхней губы, те же карие глаза.

На следующий день я пришла к ним — по общему решению молодая семья решила пока поселиться у Анны Семёновны.

Соня открыла мне — в стареньком домашнем халате. С этими ввалившимися глазами на исхудавшем лице она напоминала мне какую-то сказочную птицу. Мы сели на кухне друг напротив друга, и между нами повисла та особенная неловкая тишина, которая бывает только между двумя людьми, знающими, что должны сказать что-то важное, но не знающими, с чего начать.

— Слушай, — начала я. — Про свадьбу. Я вела себя как последняя дрянь. Прости меня.

Соня посмотрела на меня долгим взглядом, а потом зачатила — совсем по-своему, легко, будто вся эта тяжесть последних месяцев ничего не весила.

— Это я перед тобой виновата, Роник! Мне так стыдно было всё это время! Ну какое право я имела так на тебя налетать, даже не выслушав! Всё время о тебе думала, все эти месяцы. Но не знала, как прийти, так боялась, что не простишь! Потом, — она показала на свой живот, — придумала, вот родится ребёнок, придём с ним к тебе, и тогда уж ты не сможешь не простить.

Не удержавшись, я рассмеялась: в этом вся моя Сонька!

А она, завидев мою улыбку, уже тянула ко мне мизинец и совсем как в детстве, быстро, слегка задыхаясь, заговорила:

— Ронька и Сонька — дружба всегда. Их не разлучит никто, никогда!

Ну вот что ты с ней будешь делать?! Совершенно несерьёзный человек! Но я уже сама протянула её навстречу свой мизинец.

А потом, стыдясь всего этого ребячества, принялась отчитывать подругу:

— Соник, ну как так можно? Ты сама уже стала мамой, а взрослеть будешь пробовать?

Соня, по-прежнему весело улыбаясь, затараторила:

— Я попробую, обязательно попробую, но если не понравится, то и не буду! Хватит с нас и одной взрослой — тёти Рони!

И тут же без перехода засветилась совсем другим светом:

— Ронь, ты бы видела её ночью. Она хмурится точь-в-точь как ты, когда решаешь свои формулы — прямо лоб морщит, всерьёз так, будто уже что-то обдумывает.

Мы просидели так ещё около часа — говорили о какой-то ерунде, Соня, рассказывала, как Ромка неумело держит дочь, боясь уронить, и ни разу больше не вернулись к той злосчастной свадьбе, закрыв этот вопрос навсегда.

Тогда я ещё не знала, что кроме радости и усталости молодой матери, Соня в тот день выписки несла с собой ещё маленький, сложенный вчетверо листок бумаги: направление на

обследование, которое ей вручили в роддоме, после родов, обнаружив то, что врачам не понравилось. Не знала я и того, что Соня, с присущей ей лёгкостью в одних вопросах и не менее упрямым молчанием в других, решила пока никому об этом не рассказывать — ни мне, ни маме, ни тем более Ромке, — предпочитая, по своему обыкновению, сначала во всём разобраться сама, а тревожить окружающих лишь тогда, когда тревожиться будет действительно из-за чего.

Двор наш, несмотря на все веяния нового времени, всё ещё помнил старые порядки — ту особую, почти деревенскую общность, когда рождение ребёнка становится не только семейным, но и общедворовым событием. Не успела Соня толком обосноваться дома у мамы, как к ним потянулась вереница соседей — кто с пелёнками, кто с советом, кто просто взглянуть на малышку. И, разумеется, каждый считал своим долгом предложить имя.

— Марусей назвать, — авторитетно заявляла баба Клава с третьего этажа, — старинное имя, надёжное.

— А по мне — Кариной, красиво, современно, — спорила с ней молодая соседка с четвёртого.

Даже Рая, зайдя однажды с Ниной Петровной провести новорождённую, тихо предложила своё:

— Мне вот Даша нравится, простое, доброе имя.

Ромка, смущённый всеобщим вниманием, растерянно улыбался, но ни разу не осмелился высказать собственное мнение. Его бабушка, старенькая, молчаливая Надежда Тимофеевна, приковыляв однажды посмотреть на правнучку, долго шурилась подслеповатыми глазами, а потом пробормотала:

— Мамкина дочка, не папкина.

И почему-то махнула рукой.

Все понимали негласно: как бы ни бушевали дворовые страсти, последнее слово останется за Соней.

Тем временем на плечи Ромки легла отдельная, сугубо практическая забота — детское питание. Поскольку молока у Сони не было, он метался по окрестным аптекам в поисках подходящей смеси, но неизменно приносил что-то не то: то смесь для детей постарше, то с неподходящим составом. Анна Семёновна отчитывала его:

— Роман, ты хоть спрашивай там у фармацевта, что ли! Тебе непонятно написано «с шести месяцев»?

Через несколько дней после выписки Соня заявила маме, что ей нужно съездить в поликлинику, врач в роддоме рекомендовал сдать анализы после родов. Вернулась притихшая, но, как обычно, ничего не объяснила — достала мирно спящую дочку из кроватки, и, по рассказам Анны Семёновны, полвечера ходила с ней по комнате, осторожно прижав к груди.

Прошло около десяти дней. Однажды вечером мы собрались за столом в квартире Казанцевых. Соня была весь вечер необычно молчаливая, пила пустой чай, отказавшись от поставленной перед ней мамой тарелки с яблочным пирогом, и вдруг подняла на всех глаза и произнесла ровным, немного монотонным голосом:

— Я решила, как назвать дочку. Анной.

За столом повисла пауза — не столько удивлённая, сколько озадаченная: выбор имени в честь живой, сидящей тут же матери показался неожиданным.

— Сонечка, ну зачем же, — растерянно произнесла Анна Семёновна, отставляя чашку. — Дай ей другое имя, чтобы у девочки была своя дорога...

— Мама, — тихо, но твёрдо перебила её Соня, и в этой тишине было что-то такое, отчего все за столом мгновенно замолчали.

- Я говорю это сейчас перед всеми, чтобы ты слышала не только от меня одной, а при свидетелях: ты — лучшая мама на свете. И я знаю, ты не оставишь внуку, если со мной что-то случится.

— Что случится, дочка? О чём ты говоришь? — Анна Семёновна замерла с приоткрытым ртом, как будто не могла вздохнуть.

Соня опустила глаза на свои руки, лежащие на коленях, помолчала пару секунд, собираясь с силами — а потом вновь подняла взгляд, но уже не на всех, а только на мать, будто в комнате, кроме них двоих, никого больше не осталось.

— Mamочка, — тихо сказала она, — мне сказали, что у меня рак груди.

Она сделала короткую паузу, будто собираясь с силами для последнего, самого страшного слова, и добавила почти шёпотом:

— Третья стадия.

Часть 2

Глава 6. Ника. Вычитание

На улице было лето. Вокруг нас время двигалось с бешеной скоростью, но при этом казалось бесконечным и надёжным; внутри нас оно было спрессовано в неподвижные шарики пустоты и отчаяния с крошечными вкраплениями надежды, грозившие скоро лопнуть.

Мы с Анной Семёновной сидели в тоскливом больничном коридоре огромного медицинского центра, дожидаясь у двери палаты, пока закончатся Сонины процедуры.

Последние три месяца мы почти не разговаривали друг с другом — не было времени, все наши силы были брошены на поиски лучших врачей, лекарств и консультаций. Соне становилось всё хуже. Врачи не обнадеживали, но мы продолжали бороться.

Я держала руку Анны Семёновны, которая едва заметно дрожала в моих ладонях.

Совершенно неожиданно она заговорила. Голос её, в последнее время почти потерявший свою многолетнюю учительскую уверенность и чёткость, звучал сейчас неожиданно мягко и даже тепло. Она не смотрела на меня, по-прежнему направив взгляд в стену, будто разговаривая с кем-то видимым лишь ей одной:

— Меня когда из роддома выписали, Игорь внизу встречал с огромным букетом ромашек. Я ему одеяло с нашей девочкой протягиваю, взял он его в руки, смотрит на малышку, сияет весь. А потом на меня глаза поднял и говорит:

— Это лучшее, что мы с тобой, Аннушка, в жизни сделали.

Анна Семёновна оборвала речь так же резко, как начала. Она продолжала смотреть в ту же точку на противоположной стене, будто силилась найти на ней какие-то ответы.

Сониного отца — Игоря Валерьевича Казанцева — я, конечно, лично не помнила. Он трагически погиб, когда мне, как и Соне, было четыре года. Соня же вспоминала, как он брал её на руки, качал, и она засыпала в его объятиях, согретая оберегающим теплом.

Игорь Валерьевич был человек героический. О нём даже писали в газетах. Одну пожелтевшую вырезку хранила в своих архивах моя мама и не раз показывала мне. Статья, рассказывающая о Сонином отце, называлась, на мой взгляд, излишне романтично: «Его любило небо».

Поначалу жизнь Игоря складывалась очень удачно. С детства он хотел летать и управлять самолётами. И мечта его сбылась — там, где другим приходилось преодолевать многие преграды, Игорь Казанцев шагал легко. Он обладал отменным здоровьем, блестяще окончил школу и поступил в лётное училище. Завершив обучение, стал вторым пилотом, а к тридцати двум годам был уже командиром воздушного судна Ту—134. Не менее успешен он оказался и на любовном фронте. Влюбился в свою новую соседку по дому — Аню Романову, студентку педагогического института, признался в любви, и Аня ответила взаимностью. Они поженились, у них родилась дочка, которую было решено назвать Соней. Жили дружно, а потом всё оборвалось в один момент.

Однажды, вернувшись из очередного рейса, Игорь сказал жене, что хочет сходить навестить друга, которого недавно списали из-за проблем со здоровьем. Он переживал, что друг начнёт пить, хотел навестить его, поддержать. Анна отпустила мужа с лёгким сердцем — она ему доверяла, а он никогда не подводил. Дальнейшее же было известно только из протоколов допросов свидетелей, потерпевшей и подсудимых. Казанцев нашёл своего друга спящим во дворе дома на скамейке, отвёл его домой, облил ледяным душем, отпоил крепким горячим чаем и потребовал прекратить пьянствовать, сказав другу фразу, которая врезалась тому в память: «Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая, так что не дрейфь, Серёга, прорвёмся». Казанцев просидел с другом почти до одиннадцати вечера и, уходя, пообещал помочь тому «с обустройством на Земле». Выйдя на улицу, Игорь почему-то не стал ловить такси — до метро было далеко, а автобусы уже не ходили. Он решил идти пешком, хотя путь предстоял неблизкий. Срезая дорогу через парк, он заметил двух явно нетрезвых парней, кото-

рые тащили куда-то сопротивляющуюся девушку, зажимая ей рот руками. Казанцев, как сказала потерпевшая, потребовал от парней отпустить её, но те, конечно, не отреагировали, и тогда Игорь ринулся в бой. В разгар потасовки девушка вырвалась из рук насильников и убежала. Она добежала до ближайшего телефона-автомата и вызвала милицию. Несмотря на то что милиция приехала на удивление быстро, это уже не могло спасти Казанцева от гибели. Когда наряд вместе с потерпевшей прибыл на место преступления, они нашли на земле только неподвижно лежащего Игоря. У одного из нападавших был нож, и он нанёс Казанцеву четыре удара в область спины и шеи, один из которых и оказался смертельным.

...Я вздрогнула, стряхивая с себя морок воспоминаний. Открылась дверь палаты, на пороге появилась молоденькая медсестра, она посторонилась, пропуская нас внутрь.

Мы с Анной Семёновной вошли.

Я не хочу и не буду вспоминать и описывать, как выглядела тогда Соня. Скажу так: Соня таяла на глазах. Первое время, когда мы возвращались домой после бесконечных процедур, она ещё бодрилась, иногда даже смеялась, пытаясь веселить нас, и всё время просила принести к ней в комнату маленькую Анечку. Но постепенно, шаг за шагом, всё менялось. Лучше не становилось, Соня замкнулась в себе, отвечала односложно, чаще молчала, почти уже ничего не ела — разве что Анне Семёновне удавалось влить ей в рот ложку-другую бульона. Соня уже не просила увидеть дочь, не брала её на руки, а когда слышала Анечкин плач из соседней комнаты, только морщилась и закрывала глаза. Было решено, что малышку пока заберёт моя мама, чтобы разгрузить непонятно на чём державшуюся Анну Семёновну.

Ромку мы почти не видели, дома он не ночевал. Иногда появлялся, приносил деньги, требуемые лекарства, но в комнату жены не заходил.

Я вернулась домой с научной конференции, пропустить которую не представлялось возможным, вечером мне ещё предстояло ехать на очередную консультацию какого-то очередного медицинского светила. Его контакты дал мне мой приятель - аспирант с кафедры математической физики — Эдик Малинин. Это был дальний родственник Эдика, очередь к нему была расписана на полгода вперёд, но Малинин договорился, что тот посмотрит анализы Сони вне расписания.

В квартире помимо мамы, укачивающей в своей комнате Анечку, расположилась Аглая. Мы с тёткой общались редко, здоровались, прощались, перекидывались незначительными вопросами о погоде на улице, но в дискуссии с ней я не вступала до тех моментов, пока какая-нибудь очередная Аглаина выходка не доводила меня до точки кипения. Тогда я очертя голову бросалась в бой, а тётушка жалила меня короткими язвительными шпильками.

...Я кивнула Аглае, сидящей за круглым столом в гостиной с каким-то журналом в руках и, не дожидаясь ответа, прошла в комнату мамы.

Мама пела Анечке тихую колыбельную, легонько похлопывая её по спинке. Но Аня спать не желала, она таращила на маму свои карие глазки, точь-в-точь как у Сони и старательно пыталась дотянуться крошечной ручкой до маминого локона, выбившегося из аккуратно собранного на затылке узла волос.

— Не хотим мы спать сегодня, — нараспев произнесла мама, обернувшись на мои шаги. Я не успела ничего ответить, раздался стук во входную дверь.

— Кто бы это мог быть? — обеспокоенно спросила мама.

— Мама, не волнуйся. Сама сейчас откroю.

Я поспешила к двери, на пороге стоял Ромка. Он смотрел на меня, как обычно, исподлобья, и его привычная тревожно-нервная улыбка застыла на губах.

— Можно мне к Ане? — спросил он, даже не поздоровавшись.

Я также молча посторонилась, пропуская его в квартиру.

— Снимай кроссовки, и руки иди помой в ванной, — скомандовала я, Ромка, как обычно, безропотно подчинился.

Я вновь шагнула в комнату мамы.

— Там Ромка пришёл, — сказала негромко.

— Слышу, слышу, — откликнулась мама. И, наклонившись к Анечке, пропела, глядя в кукольное личико девочки:

— А кто к нам пришёл? К нам папа пришёл!

Я, не удержавшись, хмыкнула.

Ромка вернулся из ванной, с мамой, в отличие от меня, он поздоровался, причём их приветствия были такими тёплыми, что я диву давалась. Я никогда не понимала причины привязанности к Ромке ни Сони, ни моей мамы.

Мама, улыбаясь, протянула Ромке дочку:

— Вот так, держи.

Ромка, замешкавшись на мгновение, протянул руки. Оказавшись на новых руках, Анечка также внимательно, как только что смотрела на маму, уставилась на Ромку. Она смотрела пристально, хмуря лобик, и вдруг... заулыбалась своей такой смешной и незащитной беззубой улыбкой.

— Ну вот как хорошо, — сказала мама, — ты садись, Рома, вот сюда на кровать, покачай её, она скоро заснёт.

С этими словами мама вышла из комнаты. Я хотела отправиться за ней следом, но задержалась, заметив, упавшую под стол, пустышку. Наклонившись, достала её, распрямилась и шагнула к выходу. Прикрывая дверь, на пороге мне пришлось обернуться. Я увидела, сидевшего боком на кровати, чуть сторбившегося Ромку, державшего на руках дочку, а по щеке его ползли одна за другой слёзы. Не произнеся ни звука, я поспешила закрыть дверь.

В гостиной шипела Аглая: — Явился горе-папаша, долго же ждать пришлось.

— Прекрати, Аглая, — примирительно сказала мама. — Хорошо же, что пришёл. Вот и Анечка ему улыбалась, узнаёт уже.

— Ну надо же, — съязвила Аглая. — Бывает же такое: отец пришёл к дочке. Да, медаль ему выдать за подвиг.

Мама поморщилась: — Не шуми, Аглая.

Но тётку уже несло:

— Это не он должен к вам заходить с дочкой видаться, это вы навещать его могли бы, когда у вас часок-другой найдётся. Зашёл, понимаешь, всех осчастливил.

Мама беспомощно оглянулась на меня, ища поддержки. Но я лишь пожала плечами, как не хотелось бы этого говорить, в душе я была согласна с Аглаей, но вслух этого, конечно, сказать не могла.

Спустя ещё какие-то мгновения из двери маминной комнаты появился Ромка.

Слышал ли он наш разговор или нет, понять это по его лицу было невозможно как и всегда.

Он негромко произнёс:

— Она спит.

Потом добавил:

— Пойду я.

А ещё потом, обращаясь только к маме, сказал:

— Спасибо вам огромное за всё.

Мама тут же откликнулась:

— Что ты, Рома! Ты приходи почаще. Анечка тебя ждёт.

Ромка, кивнув, шагнул к выходу.

— Я закрою, — сказала мама и вышла из гостиной в коридор вслед за ним.

Аглая вновь завела свою шарманку:

— Да, заходи почаще, Ромочка, мы здесь и с дочкой твоей посидим и за женой приглядим, а ты — спи-отдыхай.

Не удержавшись, я выпалила: — Ты, что ли, это делаешь?

И поспешно вышла из гостиной.

Вошла в свою комнату и плотно закрыла дверь. Там я, наконец, переоделась, натягивая привычно растянутые легинсы и старенькую жёлтую футболку. Было душно, припадочно билась в закрытое окно невесть как оказавшаяся здесь муха. Я поспешила к окну и широко распахнула створку. В комнату ворвался лёгкий ветерок и шум обычной дворовой жизни. На детской площадке, визжа, носились дети, за ними скакал неугомонный Дик, сейчас почти всё время проводивший с соседкой Казанцевых — тётей Галей. Дальше в углу двора, под раскидистыми ветками давно отцветшей сирени, виднелась прямая, почти неподвижная фигура слепой Раи. Откуда-то из глубины памяти всплыло, как давно, в детстве, Соня мне говорила:

— Тебя нужно рисовать треугольниками, твою маму Екатерину Павловну — гибкими, волнистыми линиями, мою маму — просто солнышком, а, например, — она оглядывалась по сторонам двора в поисках подходящей кандидатуры, и взгляд её падал на Раю, — а вот Раю — просто такими прямыми палочками, так, так и так.

— Так, так и не так, — почувствовав спазм в горле, я поспешила отойти от окна. Но воспоминания отпускать не желали. На смену отброшенному уже спешило другое: это был страшный день — день после похорон папы. Я сидела здесь, в этой же самой комнате, и ни с кем не хотела разговаривать. Скрипнула дверь, и в комнату просочилась Сонька. Отвернувшись от неё, я процедила:

— Уйди отсюда, я никого не хочу видеть.

Но Сонька, конечно, и не думала слушаться. Чуть сильнее провисла кровать, и я почувствовала, как она опустилась рядом.

— Вот, возьми, это тебе, — она вложила мне что-то в руку.

Я хотела просто отбросить в сторону непрошенный дар, но невольно опустила на него взгляд. Это был лист картона, небольшой, шуршащий и твёрдый. На картоне был нарисован зимний день, наша горка — «хрустальный замок», две девчонки, сидящие на вершине горки — впереди Соня, в своей коричневой плюшевой шубке и смешной шапке с помпоном, вечно падающим ей на глаза, а сзади, крепко обняв её, — в такой же шубке, но чёрного цвета, и в рыжей беличьей шапке — я. Мы неслись с горы, а у её подножья стоял мой папа, широко раскинув руки, чтобы поймать нас в свои объятия.

Я уронила картон на пол, повернулась к Соне, обхватила её руками и, тесно прижавшись, зарыдала во всё горло.

Где этот рисунок сейчас? Я обшаривала глазами комнату, пытаюсь вернуть себе равновесие. Присела у ящиков стола, открыла самый верхний и достала альбом с фотографиями. Рисунок лежал на самой первой странице. Он не выплел и не покоробился. Достала его из альбома, поставила на стол, прислонив к стопке учебников, отошла и присела на кровать. Рисунок уже тогда был написан талантливо, уже тогда можно было понять, что человек, который его нарисовал, умеет не только увидеть сам, но и передать другим то, чем хотел с ними поделиться. Я блуждала взглядом по рисунку, в горле опять собрался незванный ком, было трудно дышать, но я шептала:

— Куда ты уходишь, Соник? Не уходи, останься со мной! У меня нет для тебя спасительного рисунка, но я люблю тебя всем сердцем. Пожалуйста, останься.

Но Соня уходила...

Но Соня ушла.

Вечер. Я возвращаюсь домой с кафедры. Так, сейчас переодеться и бежать в аптеку — наконец привезли такое долгожданное очередное лекарство для Сони.

Телефонный звонок.

— Да! Алло!

Молчание, чьё-то прерывистое дыхание, потом голос Анны Семёновны, слова, произносимые с трудом, рубленые, судорожный вдох после каждого:

— Ника, это я.

И потом, после бесконечно долгой паузы:

— Ну вот и всё, Ника...

— Вот и всё, — тупо повторяю я, держа в руках замолчавшую трубку. Вся обстановка в коридоре вдруг стала нечёткой, как будто её укутали серой, грязной ватой.

Похороны состоялись в октябре. День был солнечный — лишь холодное, туманное утро чуть намекало на то, что зима уже не за горами. При всей моей привычке к анализу тот день я вспоминаю лишь поверхностно. Какими-то фрагментами, которые не связываются в единую картину. Разрытой глубокой, тёмной ямой, на дно которой, казалось, не могли добраться лучи осеннего солнца; вспыхнувшей в голове саднящим осколком — Сониной фразой:

— А я всё смотрю, смотрю и насмотреться не могу.

Какие-то люди вокруг меня: вот Анна Семёновна — с остекленевшим взглядом, поддерживаемая с двух сторон двумя женщинами — хорошо известной мне Валентиной, её троюродной сестрой, и совсем незнакомой, скорее всего, коллегой из школы. С другой стороны от могилы стоял Ромка со своим идиотским блуждающим взглядом, ещё какие-то люди — Сонины коллеги, бывшие однокурсники, кто-то из дворовых соседей, зачем-то Аглая, редкий раз без сопровождения своих мерзких собачонок.

Когда могилу закопали, положили венки, одна из присутствующих женщин, наверное, тоже коллега Анны Семёновны, судя по чёткому учительскому голосу, пригласила всех на поминки.

Говорят, что поминки нужны людям, чтобы помочь пережить горе, свыкнуться с ним. Не буду спорить, скажу только одно: мне это помочь не могло. И потому, ни с кем не заговаривая, я покинула кладбище и отправилась домой. Мне не хотелось ни на кого смотреть, ни о чём говорить, поэтому я бесцельно блуждала по округе почти до самой темноты.

Глава 7. Ника. Иррациональное

После долгого хождения по городу без чувств, без мыслей, без смысла я, наконец, осознала, что сильно замёрзла и ноги почти отказываются идти. Было понятно, что нужно вернуться домой, несмотря на сильное желание быть одной, прячась в анонимности бесконечных пространств огромного города. Во дворе дома никого не было, на улице заметно похолодало и поднялся ветер.

Пройдя по лестнице на третий этаж, открыла дверь своими ключами — звонить не хотелось, видеть никого не хотелось. В гостиной тускло горел свет: верхний выключен, зажжена была лишь старая ещё бабушкина лампа под зелёным тканевым абажуром, стоявшая на маминем пианино. На диване сидели Анна Семёновна с Анечкой на руках и мама. За столом, покрытым старинной бархатной скатертью, восседала тётя Аглая. Её присутствие здесь этим вечером троекратно усиливало мою неприязнь к ней. Неимоверным усилием воли я подавила подступавшую к горлу волну раздражения. Мама глянула на меня мельком — она продолжала что-то настойчиво говорить Анне Семёновне, на губах которой блуждало нечто подобное слабой улыбке, когда она смотрела на спящую у неё на руках внучку. Я прислушалась, всё так же стоя в дверях, не понимая, что мне делать: войти в гостиную или отправиться в свою комнату. Мама между тем говорила:

— Ну зачем прям сегодня забирать Анютку? Ты бы, Аня, сама пошла, легла, поспала хоть сколько. Пусть малышка у нас побудет, разве я что не так делаю?

Анна Семёновна подняла голову:

— Зачем ты это говоришь, Катя? Всё так. Не знаю, как отблагодарить тебя но не могу я с ней теперь и на минуту расстаться. Дома Валентина меня ждёт, поможет, если что. А так мне и не нужно ничего, я справлюсь, я со всем теперь справлюсь.

Мама, по своей давно укоренившейся привычке уступать чужим решениям, замолчала. Я видела, как она переживает. Не знаю, как это правильно сформулировать — но сил на сочувствие у меня в ту минуту просто не было. Видела и видела. Просто констатировала факт.

Анна Семёновна повернулась в мою сторону:

— И тебе, Ника, я так благодарна, так благодарна, только не знаю, как это и высказать. Слова у меня сейчас путаются. Без тебя бы я не продержалась всё это время.

— Анна Семёновна! — сама не понимаю почему, заорала я. — Да за что вы меня благодарите-то? Что я сделала — ничего я не сделала! Когда делают — есть результат! А у нас, а у нас...

Голос мой сорвался, я не смотрела на Анну Семёновну, но видела умоляющий взгляд мамы.

Да, если бы только у меня хватило тогда сил — просто, как обычно, выровнять дыхание, начать повторять про себя таблицу умножения, привычку, закрепившуюся во мне с детских лет, — если бы, наконец, из всех сил стараясь не смотреть на Сонину маму, я не заметила внимательного взгляда Аглаи, всё могло пойти иначе. Может, я бы очнулась, пришла в себя, извинилась перед тётей Аней, села рядом. Может быть, мы просидели бы так всю ночь. Но этот взгляд Аглаи... Как описать его? Так, наверное, смотрят на подопытных мышей в лаборатории — очень пристально, очень внимательно и безо всякой любви. Не выдержав, я развернулась, рванула на себя входную дверь и вновь оказалась на лестнице.

Сбежала по широким каменным ступенькам, хлопнула уличной дверью, спешно пересекла пустынный двор, ужасно боясь, что кто-нибудь окликнет, остановит, заговорит, нырнула в арку, пробежала мимо фасада дома, где обитала Аглая, повернула за угол и... оказалась в объятиях Вадима. Мозг мой, привыкший анализировать, схватывать и замечать малейшие детали, даже в тех случаях, когда это совсем не требовалось, и сейчас отметил: Вадим стоял ровно

на той границе водораздела, который я для него разметила, опасаясь когда-то, чтобы нас не засекла Аглая. Так глупо, но этот пустяковый эпизод неожиданно разбудил во мне какое-то щемяще светлое чувство. Я смотрела на него, он смотрел на меня. Смотрел тем редким взглядом, что видела у него всего лишь несколько раз в жизни: без надменности, без прищура. На губах его не было вечной полупрезрительной, чуть кривоватой улыбки. Я не спросила его, как он здесь оказался. Это в целом не в моём характере. Я принимаю условия задачи такими, какие они есть, не пытаюсь вникнуть в причины, побудившие их, возникнуть. И прозвучавший голос Вадима был тоже совсем не похож на его обычный вызывающий тон. Фраза, которую мог произнести кто угодно из моего окружения и в чьих угодно устах она не произвела бы на меня никакого особого впечатления, сказанная Вадимом, обволокла и согрела меня, как самое тёплое одеяло:

— Ну вот и ты, наконец-то. А я тебя всё жду и жду.

И, чуть помедлив, спросил коротко, понизив голос:

— Всё?

Я и сама не заметила, как по моим щекам побежали две горячие струйки. Мне трудно плакать. Я не умею плакать, но когда это случается, слёзы даруют мне невероятное облегчение. То ли потому что Вадим произнёс то же самое слово, что сказала тётя Аня, сообщая мне страшную весть, то ли потому, что взгляд Вадима сейчас не был похож ни на испытующий взгляд Аглаи, ни на вечно ищущий поддержки взгляд мамы, ни на ставший в последние месяцы совсем пустым взгляд Анны Семёновны, то ли просто не знаю от чего, но я заплакала.

В бытность мою студенткой, аналитическую геометрию у нас преподавал профессор Сазонов. На экзаменах он, выслушав ответ студента, неизменно в конце спрашивал: — Всё?

Одни студенты после этого вопроса начинали судорожно искать дополнения к своему ответу, другие отвечали: «да», но и среди ответивших «да» всегда были те, кто говорил «да» неуверенно, ища во взгляде профессора намёк на подсказку, другие — к ним относилась и я — говорили «да» твёрдо, со знанием дела.

Вот и сейчас, лишь чуть выдержав паузу, я выдохнула, глядя в лицо Вадиму: — Да.

Но, честно, я не знаю, была ли я в этот раз уверена в своём ответе. Вадим потянулся ко мне и мягко заключил в объятия.

А потом мы пошли — не знаю куда, мне было всё равно, мне просто хотелось идти с ним. На углу какой-то улицы Вадим остановил такси, о чём-то коротко спросил водителя и распахнул передо мной заднюю дверцу. Я села в салон, Вадим сел рядом, обняв меня, и машина тронулась с места. Ехали мы достаточно долго и заехали в совсем незнакомый мне район Москвы. Возле новой высотки машина затормозила, Вадим протянул водителю деньги, вылез наружу и подал мне руку. Всё так же, держа меня за руку, повёл в подъезд, мы вошли в новенький лифт, Вадим нажал кнопку «12».

Я опять не объясню, зачем шла за ним. Наверное, это был тот редкий случай в моей жизни, когда хотелось, чтобы кто-то другой всё решил за меня.

Выйдя из лифта, Вадим повернул налево, по-прежнему держа меня за руку как маленького ребёнка. Мы оказались в небольшом холле с двумя дверьми. Вадим достал из кармана ключи, отпирая чёрную металлическую дверь, отпустил наконец мою руку и прошёл вперёд, зажигая свет в прихожей. Затем повернулся ко мне. Он улыбался. Улыбка не была ни дерзкой, ни вызывающей — мягкая, лёгкая, согревающая и обнадеживающая. Ровно такая, какая была мне нужна в тот момент. Он вновь протянул мне руку и завёл в квартиру. Входная дверь захлопнулась, мы остались вдвоём.

Квартира, в которую мы вошли, ничем не напоминала мой родительский дом. Это была новая квартира со всеми современными атрибутами. Из квадратного коридора, в котором мы очутились, сквозь распахнутую дверь виднелась просторная гостиная; справа, видимо, распо-

лагалась кухня, налево убегал глубокий коридор — судя по всему, там была ещё одна комната и санузел.

— Проходи в комнату, — Вадим мягко подтолкнул меня к открытой двери гостиной. — Я сейчас чайник поставлю, или, думаю, от бокала вина не откажешься?

Он не то чтобы спрашивал, скорее просто делился со мной своими решениями. Речь его звучала просто, безо всяких прикрасных словечек и прочей специфики его привычной манеры общения. Я кивнула, как бы одобряя план его действий, и шагнула в комнату. Она была просторной, в ней практически не было мебели. Посредине стоял огромный угловой диван, обитый коричневой кожей. На диване лежал клетчатый плед и пара цветных подушек. На полу — бежевый ковёр с коротко стриженным ворсом. Напротив, ближе к окну, находилась огромная плазма на низкой консоли. Помимо этого, был ещё невысокий столик на колёсиках, лежал какой-то гляцевый журнал — и все.

Я сначала присела на диван, потом встала и подошла к окну. Передо мной открывался вид на ночной город. Горели фонари, кое-где светились окна в домах напротив. Впервые с того момента, как я выбежала из нашей квартиры на улицу, ко мне вернулось умение мыслить рационально. Внутри меня прозвучал вопрос:

— Зачем ты здесь, Ника? Ты уверена, что поступаешь разумно? Ты принимаешь на себя ответственность за это решение?

— Нет, — ответила я сама себе на прозвучавшие в голове вопросы. — Нет, — голос во мне креп, звучал громче. — Я не знаю, зачем я здесь. Нет, я не поступаю разумно. Нет! Я не хочу нести ответственность и не хочу принимать никаких решений! Я просто хочу тепла и приятия!

Обернувшись — в комнату вошёл Вадим. В руках — поднос, на котором стоял чайник, чашки, бутылка вина и бокалы. Всё это он поставил на маленький столик, который плавно чуть покотился по гладкому полу, но почти сразу остановился, упёршись в край ковра. Вадим снова вышел, но вернулся почти сразу — принёс ещё большое блюдо, на котором лежал нарезанный сыр, виноград и яблоки. Поскольку места на маленьком столике уже не было, он поставил блюдо прямо на ковёр. И сам сел рядом на пол.

— Иди сюда! — позвал он меня негромко. — Вот чай. Или вино налить?

— Да, — сказала я. — Налей вина, налей чай.

Он молча повиновался. Чашку с чаем он оставил на столике, а бокал, вставая, протянул мне.

Мы сидели на полу, привалившись к дивану, — я держала в руках почти нетронутый бокал вина, Вадим то и дело протягивал мне то виноградинку, то тонкий ломтик сыра, будто заботился о ребёнке, а не о взрослой женщине. Мы почти не разговаривали. Тишина между нами не была неловкой — она была именно той тишиной, в которой не нужно ничего объяснять и ничего доказывать. В какой-то момент он забрал бокал из моих рук, отставил его в сторону и осторожно, будто боясь спугнуть, коснулся ладонью моей щеки. Я не отстранилась. Весь мой рациональный, вечно всё просчитывающий разум совсем умолк. Не было ни единой мысли, ни единой формулы, ни единого доказательства. Было только тепло его рук, только тишина огромной чужой квартиры, ночной, чужой район за окном, и то самое, впервые испытанное чувство: мне не нужно ничего решать самой. Я не помню, как мы оказались на диване. Не помню, сколько прошло времени. Помню только его бережность, — и своё, совсем не собственное полное, безоговорочное доверие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.